

Белла Ахмадулина

Однажды в декабре

«Пушкинский фонд» • Санкт-Петербург

МСМХСVI





# Белла Ахмадулина

## Однажды в декабре...

Рассказы, эссе, воспоминания

«Пушкинский фонд» · Санкт-Петербург

МСМХСVI

**ББК 84. Р7  
А 95**

**Составление и подготовка текста  
*О. П. Грушникова***

**Марка издательства работы  
*Сергея Семенова***

**ISBN 5—85767—087—X**

**© Б. Ахмадулина, 1996**

# **РАССКАЗЫ**

## НА СИБИРСКИХ ДОРОГАХ

Всем сразу нашлось куда ехать.

— Горск! Речинск! — радостно вскрикивали вокруг нас и бежали к «газикам», пофыркивающим у обкомовского подъезда.

И только мы с Шурой слонялись по городу, томилась, растерянно ели беляши, и город призрачно являлся нам из темноты, по-южному белея невысокими домами, взрывая близкими паровозами.

Шура был долгий, нескладный человек, за это и звали его Шурой, а не Александром Семеновичем, как бы следовало, потому что он был не молод.

К утру наконец нашелся и для нас повод прыгнуть в «ГАЗ-69» и мчаться вперед, толкаясь плечами и проминая головой мягкий брезентовый потолок.

— Поезжайте-ка вы в Тумы, — сказал нам руководитель нашей группы практикантов-журналистов. — Где-то возле Тумы работают археологи из Москвы, ведут интересные раскопки. Это для Шуры. А вы разыщите сказителя Дорышева.

Мы сразу встали и вышли. Яркий блеск неба шлепнул нас по щекам. И мне и Шуре хотелось бы иметь другого товарища — более надежного и энергичного, чем мы оба, которому счастливая звезда доставляет с легкостью билеты куда угодно и свободные места в гостинице. Неприязненно

поглядывая друг на друга, мы с Шурой все больше тосковали по такому вот удачливому попутчику.

...На маленьком аэродроме маленькие легкомысленные самолеты взлетали и опускались, а очередь, почти сплошь одетая в белые платочки, все не убавлялась. Куда летели, кого провожали эти женщины? Умудренные недавним огромным перелетом, мы с улыбкой думали о малых расстояниях, предстоящих им, а их лица были серьезны и сосредоточены. И, может быть, им, подавленным значительностью перемен, которые собирались обрушить на их склоненные головы маленькие самолеты, суетными и бесконечно далекими казались и огромный город, из которого мы прилетали, и весь этот наш семичасовой перелет, до сих пор тяжело, как вода, мешающий ушам, и все наши невзгоды, и археологи, блуждающие где-то около Тумы.

На маленьком аэродроме Шура стал уже нестерпимо высоким, и, когда я подняла голову, чтобы поймать его рассеянное, неопределенно плывущее в вышине лицо, я увидела сразу и лицо его и самолет.

Нас троих отсчитали от очереди: меня, Шуру и мрачного человека, за которым до самого самолета семенила, отступалась и всплакивала женщина в белом платке. Нам предстояло час лететь: дальше этого часа самолет не мог ни разлучить, ни осчастливить. Но когда самолет ударил во все свои погремушки, собираясь вспорхнуть, белым-бело, белее платка, ее лицо заслонило нам дорогу — у нас даже глаза заболели, — и, ослепленный и напуганный этой белизной, встрепенулся всегда дремлющий вполглаза, как птица, Шура. Белело вокруг нас! Но это уже небо белело — на маленьком аэродроме небо начиналось сразу над вялыми кончиками травы.

Летчик сидел среди нас, как равный нам, но все же мы с интересом и заискивающе поглядывали на его необщительную спину, по которой сильно двигались мышцы, сохранявшие нас в благополучном равновесии. Этот летчик не был отделен от нашего земного невежества таинственной недоступностью кабины, но цену себе он знал.

— Уберите локоть от дверцы! — прокричал он, не оборачиваясь. — До земли хоть и близко, а падать все равно неприятно.

Я думала, что он шутит, и с готовностью улыбнулась его спине. Тогда, опять-таки не оборачивая головы, он крепко взял мой локоть, как нечто лишнее и вредно мешающее порядку, и переместил его по своему усмотрению.



Внизу близко зеленели неистойвой химической зеленью горы, поросшие лесом, или скучно голубела степь, по которой изредка проплывали грязноватые облака овечьих стад, а то вдруг продолговатое чистое озеро показывало себя до дна, и чудилось даже, что в нем различимы продолговатые рыбы тела.

Эта таинственная, близко-далекая земля походила на дно моря, — если плыть с аквалангом и видеть сквозь стекло и слой воды неведомые, опасно густые водоросли, пробитые белыми пузырьками, извещающими о чьей-то малой жизни, и вдруг из-за угла воды выйдет рыба и устанит в твои зрачки красным недобрый-глазом.

— Красивая земля! — крикнула я дремлющему Шуре в ухо.

— Что?

— Красивая земля!

— Не слышу!

Пока я докричала до него эту фразу, она утратила свою незначительность и скромность и оглушила его высокопарностью, так что он даже отодвинулся от меня.

Около Тумы самолет взял курс на старика, вышедшего из незатейливой будки, — в одной руке чайник, в другой полосатый флаг, — и прямо около чайника и флага остановился.

Нашего мрачного попутчика, которого на аэродроме провожала женщина в белом платке, встретила подвода, а мы, помаявшись с полчаса на посадочной площадке, отправились в ту же сторону пешком.

В Тумском райкоме, издали обнаружившем себя бледно-розовым выцветшим флагом, не было ни души, только женщина мыла пол в коридоре. Она даже не разогнулась при нашем появлении и, глядя на нас вниз головой сквозь твердо расставленные ноги, сказала:

— С Москвы, что ль? Ваша телеграмма нечитанная лежит. Все на уборке в районе, сегодня третий день.

Видно, странный ее способ смотреть на нас — наоборот и снизу вверх — и нам придавал какую-то смехотворность, потому что она долго еще, совсем ослабев, заливалась смехом в длинной темноте коридора, и лужи всхлипывали под ней.

Наконец она домыла свое, страстно выжала тряпку и пошла мимо нас, радостно ступая по мокрому чистыми белыми ногами, и уже оттуда, с улицы, из сияющего простора своей субботы, крикнула нам:

— И ждать не ждите! Раньше понедельника никого не будет!

При нашей удачливости мы и не сомневались в этом. Вероятно, я и Шура одновременно представили себе наших товарищей по командировке, как они давно приехали на места, сразу обо всем договорились с толковыми секретарями райкомов, выработали план на завтра, провели встречи с работниками местных газет, и те, очарованные их столичной осведомленностью и уверенностью повадки, пригласили их поужинать чем Бог послал. А завтра они поедут куда нужно, и сокровенные тайны труда и досуга легко откроются их любопытству, и довольный наш руководитель, принимая из их рук лаконичный и острый материал, скажет озабоченно: «За вас-то я не беспокоился, а вот с этими двумя просто не знаю, что делать».

С завистью подумали мы о мире, уютно населенном счастливыми.

В безнадежной темноте пустого райкома мы вдруг так смешны и жалки показались друг другу, что чуть не обнялись на сиротском подоконнике, за которым с дымом и лязгом действовала станция Тума и девушки в железнодорожной форме, призывая паровозы, трубили в рожки. Мы долго, как та женщина, смеялись: Шура, закинув свою неровно седую, встрепанную голову, и я, уронив отяжелевшую свою.

Вдруг дверь отворилась, и два человека обозначились в ее неясной светлоте. Они заметили нас на фоне окна и, словно в ужасе, остановились. Один из них медленно и слепо пошел к выключателю, зажегся скромный свет, и пока они с тревогой разглядывали нас, мы поняли, что они, как горем, подавлены тяжелой усталостью. Из воспаленных век глядели на нас их безразличные, уже подернутые предвкушением сна зрачки.

Окрыленные нашей первой удачей — их неожиданным появлением, страстно пытаюсь пробудить их, мы бойко заговорили:

— Мы из Москвы. Нам крайне важно увидеть сказителя Дорышева и археологов, работающих где-то в Тумском районе.

— Где-то в районе, — горько сказал тот из них, что был повыше и, видимо, постарше возрастом и должностью. — Район этот за неделю не объедешь.

— Товарищи, не успеваем мы с уборкой, прямо беда, — отозвался второй, виновато розовея белками, — не спим вторую неделю, третьи сутки за рулем.

Но все это они говорили ровно и вяло, уже подремывая в преддверии отдыха, болезненно ощущая чернеющий в углу облупившийся диван, воображая всем телом его призывную, спасительную округлость. Они бессознательно, блаженно и непреклонно двигались мимо нас в его сторону, и ничто не могло остановить их, во всяком случае, не мы с Шурой.

Мы не отыскивали столовой и, нацелившись на гудение и оранжевое зарево, стоящие над станцией, осторожно пошли сквозь темноту, боясь расшибить лоб об ее плотность.

В станционном буфете, вкривь и вкось освещенном гуляющими вокруг паровозами, тосковал и метался единственный посетитель.

— Нинку речинскую знаешь? — горестно и вызывающе кричал он на буфетчицу. — Вот зачем я безобразничаю! На рудники я подамся, ищи меня свищи!

— Безобразничай себе, — скучно отозвалась буфетчица, и ее ленивые руки поплыли за выпуклым стеклом витрины, как рыбы в мутном аквариуме.

Лицо беспокойного человека озарилось лаской и надеждой.

— Нинку речинскую не знаете? — спросил он, искательно заглядывая нам в лица. И вдруг, в дурном предчувствии, махнув рукой, словно отрекаясь от нас, бросился вон, скандально хлопнув дверью.

— Кто эту Нинку не знает! — брезгливо вздохнула буфетчица. — Зря вы с ним разговаривать затеяли.

Было еще рано, а в доме приезжих все уже спали, только грохочущий умывальник проливал иногда мелкую струю в чьи-то ладони. Я села на сурово-чистую, отведенную мне постель, вокруг которой крепким сном спали восемь женщин и девочка. «Что ее-то занесло сюда?» — подумала я, глядя на чистый, серебристый локоток, вольно откиннутый к изголовью. Среди этой маленькой, непрочной тишины, отгороженной скудными стенами от грохота и неужта наступающей ночи, она так ясно, так глубоко спала, и сладкая лужица прозрачной младенческой слюны чуть промочила подушку у приоткрытого уголка ее губ. Я пристально, нежно, точно колдуя ей доброе, смотрела на слабый, не

окрепший еще полумесяц ее лба, неясно светлевший в полутьме комнаты.

Вдруг меня тихо позвали из дверей, я вышла в недоумении и увидела неловко стоящих в тесноте около умывальника тех двоих из райкома и Шуру.

— Еле нашли вас, — застенчиво сказал младший. — Поехали, товарищи.

Мы растерянно вышли на улицу и только тогда опомнились, когда в тяжело дышавшем, подпрыгивающем «газике» наши головы сшиблись на повороте.

Они оказались секретарем райкома и его помощником, Иваном Матвеевичем и Ваней.

Скованные стыдом и тяжелым чувством вины перед ними, мы невнятным лепетом уговаривали их не ехать никуда и выспаться.

— Мы выспались уже, — бодро прохрипел из-за руля Иван Матвеевич, — только вот что. Неудобно вас просить, конечно, но это десять минут задержки, давайте заскочим в душевую, как раз в депо смена кончилась.

Нерешительно выговорив это, он с какой-то даже робостью ждал нашего ответа, а мы сами так оробели перед их бессонницей, что были счастливы и готовы сделать все что угодно, а не то что заехать в душевую.

«Газик», похожий на «виллис» военных времен, резво запрыгал и заковылял через ухабы и рельсы, развернулся возле забора, и мы остановились. Шура остался сидеть, а мы пошли: те двое — в молчание и в тяжелый плеск воды, а я — в повизгивание, смех до упаду и приторный запах праздничного мыла. Но как только я открыла дверь в пар и влагу, все стихло, и женщины, оцепенев, уставились на меня. Мы долго смотрели друг на друга, удивляясь разнице наших тел, отступая в горячий туман. Уж очень по-разному мы были скроены и расцвечены, снабжены мускулами рук и устойчивостью ног. Я брезговала теперь своей глупо белой, незагорелой кожей, а они смотрели на меня без раздражения, но с какой-то печалью, словно вспоминая что-то, что было давно.

— Ну что уставились? — сказала вдруг одна, греховно рыжая, расфранченная веснушками с головы до ног. — Какая-никакая, а тоже баба, как и мы. — И бросила мне в ноги горячую воду из шайки. И без всякого перехода они приняли меня в игру — визжать и заигрывать с душем, который мощно хлестал то горячей, то холодной водой.

А когда я ушла от них одеваться, та, рыжая, позолоченной раскрасавицей глянула из дверей и заокала:

— Эй, горожаночка! Оставайся у нас, мы на тебя быстро черноту наведем.

Иван Матвеевич и Ваня уже были на улице, и такими молодыми оказались они на свету, после бани, что снова мне жалко стало их: зачем они только связались со мной и Шурой?

Мы остановились еще один раз. Ваня нырнул, как в омут, в темноту и, вынырнув, бросил к нам назад ватник, один рукав которого приметно потяжелел и булькал.

— Ну, Дорышева известно где искать, — сказал Иван Матвеевич, посвежевший до почти мальчишеского облика. — Потрясемся часа два, никак не больше.

Жидким, жестяным громом грянул мотор по непроглядной дороге, в темноте зрение совсем уже отказывало нам, и только похолодевшими, переполненными хвоей легкими угадывали мы дико и мощно растущий вокруг лес.

— Эх, уводит меня в сторону! — тревожно и таясь от нас, сказал Иван Матвеевич. — Не иначе баллон спустил.

Он взял правее, и тут же что-то еле слышно хряснуло у нас под колесом.

— Ни за что погубили бурундучишку, — опечаленно поморщился Ваня.

Одурманенные, как после карусели, подламываясь не твердыми коленями, мы вышли наружу.

— Не бурундук это! — радостно донеслось из-под машины.

Под правым колесом лежал огромный, смертельно перебитый в толстом стебле желтый цветок, истекающий жирною белой влагой.

— Здоровые цветы растут в Сибири! — пораженно заметил Ваня, но Иван Матвеевич перебил его:

— Ты бы лучше колесо посмотрел, ботаник.

Ваня с готовностью канул во тьму и восторженно заорал:

— В порядке баллон! Как новенький! Показалось вам, Иван Матвеевич! Баллончик хоть куда!

Он празднично застучал по колесу одним каблуком, но Иван Матвеевич все же вышел поглядеть и весело, от всей своей молодости лягнул старенькую, да выносливую резину.

— Ну, гора с плеч, — смущенно доложил он нам. — Не хотел я вам говорить: нет у нас запаски, не успели перемонтировать. Сидели бы тут всю ночь.

Кажется, первый раз за это лето у меня стало легко и беззаботно на душе. Как счастливо все складывалось! Диковатая, неукрошенная луна тяжело явилась из-за выпуклой черноты гор, прояснились из опасной тьмы сильные фигуры деревьев, и, застигнутые врасплох этим ярким, всепроникающим светом, словно и причудливо проглянули наши лица. И когда, подброшенные резким изъязном дороги, наши плечи дружно встретились под худым брезентом, мы еще на секунду задержали их в этой радостной братской тесноте.

Я стала рассказывать им о Москве, я не вспоминала ее: в угоду им я заново возводила из слов прекрасный, легкий город, располагающий к головокружению. Дворцы, мосты и театры складывала я к их ногам взамен сна на черном диване.

Из благодарности к ним я и свою жизнь подвела под ту же радугу удач и развлечений, и столько оказалось в ней забавных пустяков, что они замолкли, не справляясь со смехом, прерывающим дыхание.

Вдруг впереди слабо, как будто пискнул, прорезался маленький свет.

На отчаянной скорости влетели мы в Улус и остановились, словно поймав его за хвост после утомительной погони.

Мы долго стучали на крыльце, прежде чем медленное, трудно выговоренное «Ну!» то ли пригласило нас в дом, то ли повелело уйти. Все же мы вошли — и замерли.

Прямо перед нами на высоком табурете сидела каменно-большая, в красном и желтом наряде женщина с темно-медными, далеко идущими скулами, с тяжело выложенными на живот руками, уставшими от власти и труда.

Ваня почему-то ничуть не оробел перед этой обширной, тяжело спящей красотой. Ему и в голову не пришло, как мне, пасть к подножию ее грозного тела и просить прощения неведомо в чем.

— Здравствуйте, мамаша! — бойко сказал он. — А где хозяин? К нему люди из Москвы приехали.

Не зрачками она смотрела на нас, а всей длиною узко и сильно чернеющих глаз. Пока она смиряла в себе глубокий рокот древнего, царственного голоса, чтобы не тратить его попусту на неважное слово, казалось, проходили века.

Каков же должен быть он, ее «повелитель», отец ее детей, которого и ей не дано переглядеть и перемолчать,

перед которым ее надменность кротко сникнет? Я представляла себе, как он, знаменитый сказитель, войдет в свой дом и оглянет его лукаво и самодовольно: ради этого дома он погнушался городской славы и почета, а чего только не сулили ему! Без корысти лицемера, он скромно вздохнет. Нет, он не понимает, почему не поют другие. Только первый раз трудно побороть немоту, загромождающую гортань. Зато потом так легко принять в грудь, освобожденную от душного косноязычия, чистый воздух и вернуть его полным и круглым звуком. Как сладко, как прохладно держать за щекой леденец еще не сказанного слова! Разве он сочинил что-нибудь? Он просто вспомнил то, что лежит за пределами памяти: изначальную влажность земли, вспоившую чью-то первую алчность жизни, высыхание степи, вспомнил он и то время, когда сам он был маленькой алой темнотой, предназначенной к жизни, и все то, что знали умершие, и то, чего еще никогда не было, да и вряд ли будет на земле.

Да и не поет он вовсе, а просто высоко, натужно бормочет, коряво пощипывая пальцем самодельную струну, натянутую вдоль полого длинного ящика.

Но вот острое кочевничье беспокойство легкой молнией наискось пробьет его неподвижное тело, хищной рукой он сорвет со стены чатхан с шестью струнами и для начала покажет нам ловкий кончик старого языка, в котором щекотно спит до поры звездная тысяча тахпахов-песен, ведомых только ему.

Потом он начнет раздражать и томить инструмент, не прикасаясь к его больному месту, а ходя пальцами вокруг да около, пока тот, доведенный до предела тишины, сам не исторгнет печальной и тоненькой мелодии. Тогда, зовуще заглядывая в пустое нутро чатхана, выкликнет он имя богатыря Кюн-Тениса — раз и другой. Никто не отзовется ему. Красуясь перед нами разыгранной неудачей, загорюет он, зайщет в струнах, и, на радость нашему слуху, явится милый богатырь, одетый в красный кафтан на девяти пуговках, добрый и к людям и к скоту.

Так я слушала свои мысли о нем, а в ее небыстрых устах зрели, образывались и наконец сложились слова:

— Нет его. Ушел за медведем на Белый Июс.

Зачарованная милостивым ее ответом, я не заметила даже, как с горестным сочувствием и виновато Иван Матвеевич и Ваня отводят от меня глаза. (Шура-то, наверное,

и не ожидал ничего другого.) Но не жаль мне было почему-то, что, усугубляя мои невзгоды, все дальше и дальше в сторону Белого Июса, точно вслед медведю, легко праздную телом семидесятилетний опыт, едет на лошади красивый и величавый старик. Родима и уютна ему глубокая бездна тайги, и конь его не ошибается в дороге, нацелившись смелой ноздрей на гибельный и опасный запах.

Но тут как бы сквозняком вошла в дом распаленная движением девушка и своей разудалой раскосостью, быстрым говором и современной кофтенкой расколдовала меня от чар матери.

Она сразу поняла что к чему, без промедления обняла меня пахнущими степью руками и, безбоязненно сдернув с высокого гвоздя отцовский чатхан, заявила:

— Не горюйте, услышите вы, как отец поет. Я вам его брата позову — и совсем не так, и все-таки похоже.

Она повлекла нас на крыльцо, с крыльца и по улице, ясно видя в ночи. Возле большого, не веющего жильем дома она прыгнула, не примериваясь, где-то в вышине поймала ключ и, вталкивая нас в дверь, объяснила:

— Это клуб. Идите скорей: электричество до двенадцати.

Выдав нам по табуретке, она четыре раза назвалась Аней, на мгновение подарив каждому из нас маленькую трепещущую руку. Затем повелела темноте за окном:

— Коля! Веди отцовского брата! Скажи, гости из Москвы приехали.

— Сейчас, — покорно согласились потемки.

Аня, словно яблоки с дерева рвала, без труда доставала из воздуха хлеб, молоко и сыр и раскладывала их перед нами на чернильных узорах стола. Иван Матвеевич нерешительно извлек из ватника бутылку водки и поместил ее среди прочей снеди.

Тут обнаружился в дверях тонко сложенный и обветренный, как будто только что с коня, юноша и доложил Ане:

— Не идет он. Говорит, стыдно будить старого человека в такой поздний час.

— Значит, сейчас придет вместе с женой, — предупредила Аня. — Вы наших стариков еще не знаете: всё делают наоборот себе. Интересно им что-нибудь — головы не повернут посмотреть; поговорить хочется до смерти, вот как матери моей, — ни одного слова не услышите. А если так и подмывает глянуть на гостей, разведать, зачем приехали, нарочно спать улягутся, чтобы уговаривали.



Мне и самой потом казалось, что эти люди в память древней привычки делать только насущное стараются побарывать в себе малые и лишние движения: любопытство, разговорчивость, суетливость.

Мы вытрясли из единственного стакана карандаши и скрепки и по очереди выпили водки и молока. Я сидела вполспины к Шуре, чтобы не помешать ему в этих двух полезных и сладких глотках, но поняла все же, что он не допил своей водки и передал стакан дальше.

— Ну, за ваши удачи, — сказал Иван Матвеевич, настойчиво глядя мне в глаза, и вдруг я подумала, что он разгадал меня, добро и точно разгадал за всеми рассказами мою истинную неуверенность и печаль.

— Спасибо вам, — сказала я, и это «спасибо» запело и заплакало во мне.

Снова заговорили о Москве, и я легко, без стыда рассказала им, как мне что-то не везло последнее время... Окончательно развенчав и унизив свой первоначальный «столичный» образ, я остановилась. Они серьезно смотрели на меня.

Сосредоточившись телом, как гипнотизер, трудным возбуждением доведя себя до способности заклинять, ощущая мгновенную власть над жизнью, Ваня сказал:

— Все это наладится.

Все торжественно повторили эти слова, и Аня тоже подтвердила:

— Наладится.

Милые люди! Как щедро отреклись они от своих неприятностей, употребив не себе, а мне на пользу восточную многозначительность этой ночи и непростое сияние луны, и у меня действительно все наладилось вскоре, спасибо им!

В двенадцать часов погас свет, и Аня заменила его мутной коптилкой. В сенях, словно в недрах природы, возник гордый медленный шум, и затем, широко отражая наш скудный огонь, всплыли одно за другим два больших лица.

На нас они и не глянули, а, имея на губах презрительное и независимое выражение, устались куда-то чуть пониже луны.

— Явились наконец, — приветствовала их Аня.

Они только усмехнулись: огромный и плавный в плечах старик, стоящий впереди, и женщина, точно воспроизводящая его наружность и движения, не выходявшая из тени за его спиной.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласили мы.

— Нет уж, — с иронией ответил старик, обращаясь к луне, и у нее же строптиво осведомился: — Зачем звали?

— Спойте нам отцовские песни, — попросила его Аня.

Но упрямый гость опять не согласился:

— Ни к чему мне его песни петь. Медведя убить недолго, вернется и споет.

— Ну, свои спойте, ведь люди из Москвы приехали, — умоляли в два голоса Аня и Коля.

— Зря они ехали, — рассердился старик, — зачем им мои песни? Им и без песен хорошо.

Мы наперебой стали уговаривать его, но он, вконец обидевшись, объявил:

— Ухожу от вас. — И тут же прочно и довольно уселся на лавке, и жена его села рядом. Но, нанеся такой вред своему нраву, он молвил с каким-то ожесточением:

— Не буду петь. Они моего языка не знают.

— Ну, не пойте, — не выдержала Аня, — обойдемся без вас.

— Ха-ха! — надменно и коротко выговорил старик, и жена в лад ему усмехнулась.

— Может быть, выпьете с нами? — предложил Иван Матвеевич.

— Ну уж нет, — оскорбленно отказался старик и протянул к стакану тяжелую, цепкую руку. Он выпил сам и, не поворачивая головы, снисходительно и ехидно глянул косиной глаза, как, не меняясь в лице, пьет жена.

Иван Матвеевич тем временем рассказывал, что у них в райкоме все молодые, а тех, кто постарше, перевели кого куда, урожай в этом году большой, но дожди и рук не хватает, еще киномеханик заболел, вот Ваня и таскает за собой передвижку, чтобы хоть чуть отвлечь людей от усталости, а пока невеста хочет его бросить — за бензинный дух и красные, как у кролика, глаза.

— Мне-то хорошо, — улыбнулся Иван Матвеевич, — моя невеста давно замуж вышла, еще когда я служил во флоте на Дальнем Востоке.

— Ну, давай, давай чатхан! — в злобном нетерпении прикрикнул старик и выхватил из Аниных рук простой, белого дерева инструмент. Он долго и недоброжелательно примеривался к нему, словно ревновал его к хозяину, потом закинул голову, словно хотел напиться и освобождал горло. В нашу тишину пришел первый, гортанный и горестный звук.

Он пел хрипло и ясно, выталкивая грудью прерывистый, насыщенный голосом воздух, и всё, что накопил он долгим бесчувствием и молчанием, теперь богато расточалось на нас. В чистом тщеславии высоко вознеся лицо, дважды освещенное — луной и керосиновым пламенем, он похвалялся перед нами глубиной груди, допускал нас заглянуть в ее далекость, но дна не показывал.

— Он поет о любви, — застенчиво пояснил Коля, но я сама поняла это, потому что на непроницаемом лице женщины мелькнуло вдруг какое-то слабое, неуловимое движение.

— Хорошо я пел? — горделиво спросил старик.

Мы принялись хвалить его, но он гневно нас одернул:

— Плохо я пел, да вам не понять этого. Семен поет лучше.

Я снова подумала: каков же должен быть тот, другой, всех превзошедший голосом и упрямством?

Мы уже собирались укладываться, как вдруг в дверях встало желто-красное зарево, облекающее ту женщину, и я вновь приняла на себя сказочный гнев ее воли.

— Иди, — звучно сказала она, словно не губы служили ее речи, а две сведенные медные грани.

Я подумала, что она зовет дочь, но ее согнутый утяжеленным кольцом палец смотрел на меня.

— Правда, идемте к нам ночевать! — обрадовалась Аня и ласково прильнула ко мне, снова пахнув на меня травой, как жеребенок.

Меня уложили на высокую чистую постель под чатханом, хозяин которого так ловко провел меня, оседлав коня в тот момент, когда я отправилась на его поиски.

Я легко улыбнулась своему счастливому злополучию и заснула.

Проснувшись от внезапного беспокойства, я увидела над собой длинные черные зрачки, не оставившие места белкам, глядящие на меня с острым любопытством.

Видно, эта женщина учуяла во мне то, далекое, татарское, милое ей, и теперь вызывала его на поверхность, любовалась им и обращалась к нему на языке, неведомом мне, но спящем где-то в моем теле.

— Спи! — сказала она и с довольным смехом положила мне на лицо грузную, добрую ладонь.

Утром Аня повела меня на крыльцо умываться и, озорничая и радуясь встрече, плеснула мне в лицо ледяной,

вкусно охолодившей язык водой. Сквозь радуги, повисшие на ресницах, увидела я вкривь и вкось сияющее, ярко-золотое пространство. Горы, украшенные голубыми деревьями, близко подступали к глазам, и было бы душно смотреть на них, если бы в спину чисто и влажно не сквозило степью.

Кто-то милый ткнул меня в плечо, и по родному, трогательному запаху я отгадала, кто это, и обернулась, ожидая прекрасного. Славная лошадь приветливо глядела на меня.

— Ты что?! — ликующе удивилась Аня и, повиснув у нее на шее, поцеловала ее крутую, чисто-коричневую скулу.

Оцепенев, я смотрела на них и никак не могла отвести взгляда.

...Мои спутники были давно готовы к дороге. Иван Матвеевич и Ваня обернулись пригожими незнакомцами. Даже Шура стал молодцом, свободно расположив между землей и небом свою высоко протяженную худобу.

Аня прощально припала ко мне всем телом, и ее быстрая кровь толкала меня, напирала на мою кожу, словно просилась проникнуть вовнутрь и навсегда оставить во мне свой горьковатый, тревожный привкус.

Женщина уже царствовала на табурете, еще ярче краснея и желтея платьем в честь воскресного дня. Мы поклонились ей, и снова ее продолговатый всевидящий глаз объемно охватил нас в лицо и со спины, с нашим прошлым и будущим. Она кивнула нам, почти не утруждая головы, но какая-то ободряющая тайна быстро мелькнула между моей и ее улыбкой.

На пороге крайнего дома с угасшими, но еще вкусными трубками в сильных зубах сидели вчерашний певец и его жена. Как и положено, они не взглянули на нас, но Иван Матвеевич притормозил и крикнул:

— Доброе утро! Археологов не видали где-нибудь поблизости? Может, кто палатки заметил или ходил землю копать?

— Никого не видали, — замкнуто отозвался старик, и жена повторила его слова.

Мы выехали в степь и остановились. Наши ноги осторожно ступили на землю, как в студеную чистую воду: так холодно-ясно все сияло вокруг, и каждый шаг раздавливал солнышко, венчающее острие травинки. Бурный фейерверк перепелок взорвался вдруг у наших лиц, и мы отпрянули,

радостно испуганные их испугом. Желтое и голубое густо росло из глубокой земли и свадебно клонилось друг к другу. Растроганные доверием природы, не замкнувшей при нашем приближении свой нежный и незащитный раструб, мы легли телом на ее благословенные корни, стебли и венчики, опустив лица в холодный ручей.

Вдруг тень всадника накрыла нас легким облаком. Мы подняли головы и узнали юношу, который так скромно, в половину своей стати, проявил себя вчера, а теперь был целостен и завершен в неразрывности с рослым и гневным конем.

— Старик велел сказать, — проговорил он, с трудом остывая от ветра, — археологи на крытой машине, девять человек, один однорукий, стояли вчера на горе в двух километрах отсюда.

Одним взмахом руки он простился с нами, подзадорил коня и как бы сразу переместил себя к горизонту.

Наш «газик», словно переняв повадку скакуна, фыркнул, взбрыкнул и помчался, слушаясь руки Ивана Матвеевича, вперед и направо мимо огромной желтизны ржаного поля. При виде этой богатой ржи лица наших попутчиков утратили утреннюю ясность и вернулись к вчерашнему выражению усталости и заботы.

— Хоть бы неделю продержалась погода! — с отчаянием взмолился Ваня и без веры и радости придирчиво оглядел чистое, кроткое небо.

...Мы полезли вверх по горе, цепляясь за густой орешник, и вдруг беспомощно остановились, потому что заняты стали наши руки: сами того не ведая, они набрали полные пригоршни орехов, крепко схваченных в грозди нежно-кислою зеленью.

Щедра и приветлива была эта гора, всеми своими плодами она одарила нас, даже приберегла в тени неожиданную позднюю землянику, которая не выдерживала прикосновения и проливалась в пальцы приторным, темно-красным медом.

— Вот он, бурундучишка, который вчера уцелел, — прошептал Ваня.

И правда, на поверженном стволе сосны, уже погребенном во мху, сидел аккуратнo-оранжевый, в чистую белую полоску зверек и внимательно и бесстрашно наблюдал нас двумя черно-золотыми капельками.

Археологи выбрали для стоянки уютный пологий про-свет, где гора как бы сама отдыхала от себя перед новым подъемом. Резко повеяло человеческим духом: дымом, едой, срубленным ельником. Видно, разумные, привыкшие к дороге люди ночевали здесь: последнее тление костра опрятно задушено землею, колышки вбиты прочно, словно навек, банки из-под московских консервов, грубо сверкающие среди чистого леса, стыдливо сложены в укромное место. Но не было там ни одного человека из тех девяти во главе с одноруким, и природа уже зализывала их следы влажным целебным языком.

У Шуры колени подкосились от смеха, и он нескладно опустился на землю, как упавший с трех ног мольберт.

— Не обращайтесь внимания, — едва выговорил он, — все это так и должно быть.

Но те двое строго и непреклонно смотрели на нас.

— Что вы смеетесь? — жестко сказал Иван Матвеевич. — Надо догонять их, а не рассиживаться.

И тогда мы поняли, что эта затея обрела вдруг высокий и важный смысл необходимости с тех пор, как эти люди украсили ее серьезностью и силою сердца.

Мы сломя голову бросились с горы, оберегаемые пружинящим сопротивлением веток. Далеко в поле стрекотал комбайн, а там, где рожь подходила вплотную к горе, женщины побарывали ее серпами. Иван Матвеевич и Ваня жадно уставились на рожь, на комбайн и на женщин, прикидывая и вычисляя, и лица их отдалились от нас. Оба они поиграли колосом, сдули с ладони лишнее и медленно отведали зубами и языком спелых, пресно-сладких зерен, как бы предугадывая их будущий полезный вкус, когда они обратятся в зрелый и румяный хлеб.

— Когда кончить-то собираетесь, красавицы? — спросил Иван Матвеевич у жницы, показывающей нам сильную округлую спину.

Сладко хрустнув косточками, женщина разогнулась во весь рост и густою темнотой глянула на нас из-под низко повязанного платка. Уста ее помолчали недолго и пропели:

— Если солнышко поможет — за три дня, а вы руку приложите, так сегодня к обеду управимся.

— Звать-то тебя как? — отозвался ее вызову Иван Матвеевич.

Радостно показывая нам себя, не таясь ладным, хорошо-медленным телом, она призналась с хитростью:

— Для женатых — Катерина Моревна, для тебя — Катенька.

Теперь они оба играли, прямо глядя в глаза друг другу, как в танце.

— А может, у меня три жены.

— Я к тебе и в седьмые пойду.

— Ну, хватит песни петь, — спохватился Иван Матвеевич. — Археологи на горе стояли — с палатками, с крытой машиной. Не видела, куда поехали?

— Видала, да забыла, — завела она на прежний мотив, но, горько разбуженная его деловитостью, опомнилась и буднично, безнапечно сказала, вновь поникая спиной: — Все их видали, девять человек, с ними девка и однорукий, вчера к ночи уехали, на озере будут копать.

— Поехали! — загорелся Иван Матвеевич и погнал нас к «газику», совсем заскучавшему в тени.

— Знаю я это озеро, — возбужденно говорил Ваня. — Там всяких первобытных черепков тьма-тьмущая. Экскаватору копнуть нельзя: то сосуд, то гробница. Весной готовили там яму под столб, отрыли кувшин и сдали к нам в райком. Так себе кувшинчик — сделан-то хорошо, но грязный, зеленый от плесени. Стоял он, стоял в красном уголке — не до него было, — вдруг налетели какие-то ученые, нюхают его, на зуб пробуют. Оказалось, он еще до нашей эры был изготовлен.

Всем этим он хотел убедить меня и Шуру, что на озере мы обязательно поймаем легких на подъем археологов.

Переутомленные остротой природы, мы уже не желали, не принимали ее, а она все искушала, все казнила нас своей яркостью. Ее цвета были возведены в такую высокую степень, что узнать и назвать их было невозможно. Мы не понимали, во что окрашены деревья, — настолько они были зеленее зеленого, а воспаленность соцветий, высоко поднятых над землей могучими стеблями, только условно можно было величать желтизною.

Машина заскользила по красной глине, оступаясь всеми колесами. Слева открылся крутой обрыв, где в глубоком разрезе земли, не ведая нашей жизни, каждый в своем веке, спали древние корни. Держась вплотную к ним, правым колесом разбивая воду, мы поехали вдоль небольшой быстрой реки. Два ее близких берега соединял канатный паром.

Согласно перебирая ладонями крученное железо каната, мы легко перетянули себя на ту сторону.

Озеро было большое, скучно-сладкое среди других, крепко поселенных озер. Наслаждаясь его пресностью, рыбы теснились в нем. Рыболовецкий совхоз как мог «облегчал» им эту тесноту: по всему круглому берегу сушились большие и продуваемые ветром, как брошенные замки, сети.

В конторе никого не было, только белоголовый мальчик, как наказанный, томился на лавке под доской почета. Он неслыханно обрадовался нам и в ответ на наш вопрос об археологах, заикаясь на каждом слове, восторженно залепетал:

— Есть, есть, в клубе, в клубе, я вас отведу, отведу.

Он сразу полюбил нас всем сердцем, пока мы ехали, перелез по кругу с колен на колени ко всем по очереди, приклеившись чумазой щечкой.

— Ага, не ушли от нас! — завопил Ваня, заметив возле клуба крытый кузов грузовика.

— Не ушли, не ушли! — счастливо повторял мальчик.

Отворив дверь, мы наискось осветили большую затемненную комнату. В ее пахнущей рыбой полутьме приплясывали, бормотали и похаживали на руках странные и непригожие существа. Видимо, какой-то праздник происходил в этом царстве, но наше появление смутило его неладный порядок. Все участники этого темного и необъяснимого действия, завидев нас, в отчаянии бросились в дальний угол, оскальзываясь на серебряном конфетти рыбьей чешуи. И тогда, прикрывая собой их бегство, явился перед нами маленький невзрачный человек и объявил с воробьиной торжественностью:

— Да мы не профессионалы, мы от себя работаем!..

Он смело бросил нам в лицо эти гордые слова, и я почувствовала, как за моей спиной сразу сник и опечалился добрый Шура.

— Так, — потрясенно вымолвил Иван Матвеевич и, подойдя к окну, освободил его от мрачно-ветхого одеяла, заслонявшего солнце.

Среди чемоданов, самодельных ширм, оброненных на пол красных париков обнаружилось несколько человек, наряженных в бедную пестроту бантиков, косынок и беретов. В ярком и неожиданном свете дня они стыдливо и неумело томились, как выплеснутые на сушу водяные.

Меж тем маленький человек опять храбро выдвинулся вперед и заговорил, обращаясь именно ко мне и к Шуру, — видимо, он что-то заметил в нас, что его смутно обнадеживало.



— Мы действительно по собственной инициативе, — подтвердил он каким-то испуганным и вместе героическим голосом.

Тут он всполошился, забегал, нырнул в глубокий хлам и выловил там длинный лист бумаги, на котором жидкой кокетливой акварелью было выведено: «ЭСТРАДНО-КОМИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ». Рекламируя таким образом программу ансамбля, он застенчиво придерживал нижний нераскрученный завиток афиши, видимо, извещавший зрителя о цене билетов.

Поощренный нашей растерянностью, он резво и даже с восторгом обратился к своей труппе:

— Друзья, вот счастливый момент доказать руководящим товарищам нашу серьезность.

И жалобно скомандовал:

— Афина, пожалуйста!

Вышла тусклая, словно серым дождем прибитая женщина. Она в страхе подняла на нас глаза, и сквозь скучный, нецветной туман ее облика забрезжило вдруг яркое синее солнышко детского взгляда. Ее как-то вообще не было видно, словно она смотрела на нас сквозь щель в заборе, только глаза синели, совсем одни, они одиноко синели, перебиваясь кое-как, вдали от нее, не ожидая помощи от ее слабой худобы и разладившихся пружин перманента.

Она торопливо запела, опустив руки, но они тяготили ее, и она сомкнула их за спиной.

— Больше мажора! — поддержал ее маленький человек.

— Тогда я, пожалуй, спою с движениями? — робко отозвалась она и отступила за ширму. Оттуда вынесла она большой капроновый шарф с опадающей позолотой и двинулась вперед, то широко распахивая, то соединяя под грудью его увядшие крылья.

Она грозно и бесстыдно наступала на нас озябшими локтями и острым голосом, а глаза ее синели все так же боязливо и недоуменно. Смущенно поддаваясь ее натиску, мы пятились к двери, и все участники ансамбля затаенно и страстно следили за нашим отходом.

— Эх, доиграетесь вы с вашей халтурой! — предостерег их Ваня.

На крыльце мы вздохнули разом и опять улыбнулись друг другу в какой-то странной радости.

Тут опять объявился мальчик и, словно мы были ненаглядно прекрасны, восхищенно уставился на нас.

— А других археологов не было тут? — присев перед ним для удобства, спросил Иван Матвеевич.

— Нет, других не было, — хорошо подумав, ответил мальчик. — Шпионы были, но я проводил их уже.

— Ишь ты! — удивился Иван Матвеевич. — А что ж они здесь делали?

Мальчик опять заговорил, радуясь, что вернулась надобность в нем.

— Приехали, приехали и давай, давай стариков спрашивать. А главный все пишет, пишет в книжку. Я ему сказал: «Ты шпион?» — а он засмеялся и говорит: «Конечно». И дал мне помидор. Потом говорит: «Ну, пора мне ехать по моим шпионским делам. А если пограничники будут меня ловить, скажи, уехал на Курганы». Но я никому ничего не сказал, только тебе, потому что он, наверно, обманул меня. И жалко его: он однорукий.

— Эх ты, маленький, расти большой, — сказал Иван Матвеевич, поднимаясь и его поднимая вместе с собой. Босые ножки полетали немного в синем небе и снова утвердились в пыли около озера. Я погладила мальчика по прозрачно-белым волосам, и близко под ними, пугая ладонь хрупкостью, обнаружилось теплое и круглое темя, вызывающее любовь и нежность.

На Курганах воскресенье шло своим чередом. По улице, с одной стороны имеющей несколько домов, а с другой — далекую и пустую степь, гулял гармонист, вполсилы растягивая гармонь. За ним, тесно взявшись под руки, следовали девушки в выходных ситцах, а в отдалении вилось пыльное облачко детворы. Изредка одна из девушек выходила вперед всей процессии и делала перед ней несколько кругов, притопывая ногами и выкрикивая частушку. Вроде бы и незатейливо они веселились, а все же не хотели отвлечься от праздника, чтобы ответить на наш вопрос об археологах. Наконец выяснилось, что никто не видел крытой машины и в ней девяти человек с одноруким.

— Разве это археологи? — взорвался вдруг Ваня. — Это летуны какие-то! Они что, дело делают или в прятки играют, или вообще с ума сошли?

— А ты думал, они сидят где-нибудь, ждут-пождут и однорукий говорит: «Что-то наш Ваня не едет?» — одернул его Иван Матвеевич и быстро глянул на нас: не обиделись ли мы на Ванину нетерпеливость?

У последнего дома мы остановились, чтобы опорожнить канистру с бензином для поддержки «газика», а Ваня распластался на траве, обновляя мыльную заплату на бензобаке.

На крыльцо вышла пригожая старуха, и Иван Матвеевич тотчас обратился к ней:

— Бабка, а не видала ты... — Он тут же осекся, потому что из бабкиных век смотрели только две чистые, пустые, широко открытые слезы.

— Ты что примолк, милый? — безгневно отозвалась она. — Ты не смотри, что я слепая, может, и видала чего. Меня вон как давеча проезжий человек утешил, когда мою воду пил. Ты, говорит, мать, не скучай по своим глазам. У человека много всего человеческого, каждому калеке что-нибудь да останется. У меня, говорит, одна рука, а я ею землю копаю.

— Ну и бабка! — восхищенно воскликнул Иван Матвеевич. — Я ведь как раз этого однорукого ищу. Куда же он отсюда поехал?

— Отсюда-то вон туда, — она указала рукой, — а уж оттуда куда, не спрашивай — не знаю.

— Верно, вот их след, — закричал Ваня, — на полуторке они от нас удирают!

— Нам теперь прямая дорога в уголовный розыск, — заметил Иван Матвеевич, бодро усаживаясь за руль. — Или в индейцы. Хватит жить без приключений!

У нас глаза сузились от напряжения и от света, летящего навстречу, в лицах появилось что-то древневоенное и непреклонное. «Газик» наш — гулять так гулять! — неистово гремел худым железом, и орлы, парящие вверху, брезгливо пережидали в небе нашу музыку.

Вдруг нам под ноги выкатилась большая фляга, обернутая войлоком. Мы не могли понять, ни откуда она взялась, ни что в ней, но наугад стали отхлебывать из горлышка прямо на ходу и скоро, как щенки, перемазались в белой сладости. Фляга ударяла нас по зубам, и мы хохотали, обливаясь молоком, отнимая друг у друга его косые всплески. Мы нацеливались на него губами, а оно метило нам в лицо, мгновенным бельмом проплывало в глазу и клеило волосы. Но когда я уже отступилась от погони за ним, перемогая усталость дыхания, оно само пришло на язык, и его глубокий и чистый глоток растворился во мне, напоминая Аню. Это она, волшебная девочка, дочь волшебницы,

предусмотрительно послала мне свое крепкое снадобье, на-  
стоянное на всех травах, цветах и деревьях. И я, вновь  
похолодев от тоски и жадности, пригубила ее живой и  
добрый мир. Его дети, растения и звери приблизились к  
моим губам, влажно проникая в мое тело, и ничего, кроме  
этого, тогда во мне не было.

Подослепшие от тяжелого степного солнца, нетрезво  
звнящего в голове, мы снова попали в хвойное поднебесье  
леса. Он осыпал на наши спины прохладный дождь детских  
мурашек, и разомлевшее тело строго подобралось в его  
свежести. Никогда потом не доводилось мне испытывать  
таких смелых и прихотливых чередований природы, обжи-  
гающих кожу веселым ознобом.

— Они в Сагале, больше негде им быть, — уверенно  
сказал Иван Матвеевич.

Мы остановились возле реки и умылись, рая ладони  
острым холодом зеленой воды.

На переправе мы хором, азартно и наперебой спросили:

— Был здесь грузовик с крытым кузовом?

— И с ним девять человек?

— Среди них — однурукий?

— И девушка? — мягко добавил Шура.

Не много машин переправлялось здесь в воскресенье, но  
старый хакас, работавший на пароме, долго размышлял,  
прежде чем ответить. Он раскурил трубку, отведал ее дыма,  
сдержанно улыбнулся и промолвил:

— Были час назад.

— Судя по всему, они должны быть в столовой, —  
обратился Иван Матвеевич к Ване. — Как ты думаешь,  
следопыт?

— Я думаю, если они даже сквозь землю провалились,  
в столовую нам не мешает заглянуть, — решительно заявил  
Ваня. — Целый день не ели, как верблюды.

— Может, Ванюша, ты по невесте скучаешь? — поддел  
его Иван Матвеевич.

Он, видимо, чувствовал, что нам с Шурой все больше  
делалось стыдно за их даром пропавшее воскресенье, и  
потому не позволял Ване никаких проявлений недовольст-  
ва. Ваня ненадолго обиделся и замолк.

В совхозной чайной было светло и пусто, только два  
вместе сдвинутых стола стояли неубранными. Девять пус-  
тых тарелок, девять ложек и вилок насчитали мы в этом  
беспорядке, оцепенев в тяжелом волнении.

Я помню, что горе, настоящее горе осенило меня. Чем провинились мы перед этими девятью, что они так упорно и бессмысленно уходили от нас?

— Где археологи? — мрачно спросил Иван Матвеевич у розово-здоровой девушки, вышедшей убрать со стола.

— Они мне не докладывались, — с гневом отвечала она, — нагрязнили посуды — и ладно.

— Мало в тебе привета, хозяйка, — укорил ее Иван Матвеевич.

— На всех не напасешься, — отрезала она. — А вы за моим приветом пришли или обедать будете?

— А были с ними однорукий и девушка? — застенчиво вмешался Шура.

Он уже второй раз с какой-то нежностью в голосе поминал об этой девушке: видимо, ее неопределенный, стремительно ускользящий образ трогал его своей недосыгаемостью.

Но, кажется, именно в этой девушке и крылась причина немилости, павшей на наши головы.

— У нас таким девушкам вслед плюют! — закричала наша хозяйка. — Вырядилась в штаны — не то баба, не то мужик, глазам смотреть стыдно. И имя-то какое ей придумали! Я Ольга, и все Ольги, а она Э-льга! Знать, и родители ее бесстыдники были, вот и вышла Эль-га! Одна на восемь мужиков, а они и рады: всю мою герань для нее общипали. Отобедали — и ей, ей первой спасибо говорят, а уж за что спасибо, им одним известно.

— Как вам не стыдно! — не выдержал Шура. — Что она вам худого сделала? Ведь она работает здесь, одна, далеко от дома, думаете, легко ей с ними ездить?

— Что ты меня стыдишь? — горько сказала она, утихая голосом, и, поникнув розовым лицом на розовые локти, вдруг заплакала.

Иван Матвеевич ласково погладил ее по руке и поймал пальцем большую круглую слезу, уже принявшую в себя ее розовый цвет.

— Полно горевать, — утешал он ее, — у тебя слезинка — и та красавица. У них в городе все по-своему. А ты меня возьми спасибо говорить.

— А сам, небось, поедешь ее догонять? — ответила она, повеселев и одного только Шуру не прощая взглядом. — Что есть будете?

Мы уже перестали торопиться и, ослабев, медленно ели глубокий, нежно-крепкий борщ и оладьи, вздыхающие

множеством круглых ноздрей. Сильный розовый отблеск хозяйки как бы плыл в борще, ложился на наши лица, вода, подкрашенная им, отдавала вином. За окном близко от нас садилось солнце.

Рядом, опалая ресницы, действовала вечная закономерность природы: земля и солнце любовно огибали друг друга, сгущались земные облака над деревьями, иные планеты отчетливо прояснялись в небесах.

Быстро темнело, и только женщина смиренно как бы теплилась в углу. Усталость клонила наши головы, ничего больше нам не хотелось.

— Зато выспитесь сегодня, — осторожно сказала я Ивану Матвеевичу и Ване.

Они тут же вскочили.

— Поехали! — крикнул Иван Матвеевич.

Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распалась на два тоненьких силуэта, и четыре затуманенных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.

Никто из неспящих в этой ночи ничего не знал об археологах. Раза два или три нас посылали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.

Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:

— Кончается бензин, меньше нуля осталось.

Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонь. Наш «газик» все-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

— Браток, не одолжишь горючего? — с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.

— Да понимаешь, какое дело, — живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, — сам стою с пустым баком. Второй час уже старую запаску жгу.

Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам

и не утихающий ночью, в марте горько расцветающий миндалем, в декабре гордо увядающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.

Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем «Сакартвело».

Между тем становилось очень холодно, это резко континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холодом после дневной жары.

Все они стали упрашивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.

Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.

— И этикие красавцы чуть не погибли в степи! — веселился он. — Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если б не я.

Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.

У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и наскоро простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.

Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.

И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натошак, все же оказывало свое действие. Как долго было все это: из малень-

кого, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, округлое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; все тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу; затем, бережно собранные воедино, разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томила и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрощали и воспитывали ее буйность. И все затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.

У переправы через Гутым сгрудилось несколько машин, ожидающих своей очереди. Мы пошли к реке, чтобы умыться. Там плескался, зайдя в воду у берега, какой-то угрюмый человек, оглянувшийся на нас криво и подозрительно.

— Возишь кого или сам начальство? — спросил он у Ивана Матвеевича, обнажив праздничный самородок зуба, недобро засиявший на солнце.

— А черт меня знает, — рассеянно и необщительно ответил Иван Матвеевич.

— Ну а я сам с чертом одноруким связался. Замучили совсем, гробокопатели ненормальные, день и ночь с ними разъезжаю — ни покушать, ни пожрать, да еще землю рыть заставляют.

Вяло обмерев, слушали мы, как он говорит со злорадством и мукой, выдыхая свое золотое сияние.

— Где они? — слабо и боязливо выговорил Иван Матвеевич.

— Вон, вон! — в новом приливе ожесточения забубнил человек, протыкая воздух указательным пальцем. — То носились, как угорелые, а теперь палатки поставили и сидят, ничего не делают.

В стороне, близко к воде, и правда, белело несколько маленьких палаток, а между ними деловито и начальственно расхаживала тоненькая девушка в брюках и ковбойке.

Иван Матвеевич и Ваня, обгоняя друг друга, бросились к ней и разом обняли ее.

Холодно и удивленно отстранила она их руки и, отступив на шаг, сурово осведомилась:



— В чем дело?

— Вы археологи? Вас Эльга зовут?

— Да, археологи, да, Эльга, — строго и нетерпеливо продолжала она.

И тогда оба они увидели ее, надменную царевну неведомого царства, в брюках, загадочно украшенных швами и пуговками, с невыносимо гордой ее головой на непреклонной шее.

Отдалившись от нее, Иван Матвеевич, смутившись, стал сбивчиво оправдываться:

— Мы... ничего не хотим, тут вот товарищи из Москвы... все разыскивали вас...

— Где?! — воскликнула девушка и радостно и недоверчиво посмотрела на меня и Шуру, склонив набок голову. — Вы правда из Москвы? — заговорила она, горячо схватив нас за руки. — Когда приехали? Что там нового? Мы же ничего не знаем, совсем одичали! Какое счастье, что вы нас разыскали! И как кстати: мы тут нашли одну замечательную вещь! Да идемте же, что мы стоим, как дураки! Как вы нас нашли, мы ж все время мчались, намечали план раскопок!

Какие-то молодые люди обступили нас со всех сторон, тормозили, обнимали, расспрашивали и все кричали наперебой, как будто это они догнали нас наконец в огромном пространстве.

Мы с Шурой совсем растерялись. Вот они все тут, рядом, уже не отделенные от нас горизонтом: семь человек, девушка и вышедший из-за деревьев, ярко охваченный солнцем, смуглый, узкоглазый, однорукый.

— Это наш профессор, — шепнула Эльга, — он замечательный, очень ученый и умный, на вид строгий, а на самом деле предобрый.

Профессор крепко, больно пожал нам руки. Он, видно, был хакас и глядел зорко, словно прищурившись для хитрости.

Мы радостно оглянулись на Ивана Матвеевича и Ваню и вдруг увидели, что их нет. Как это? Мы так привыкли к тесной и постоянной близости этих людей, что неожиданное, невыносимое их отсутствие потрясло нас и обидело.

— Постойте, — сказал Шура, пробиваясь сквозь археологов, — где же они?

— Кого вы ищете? — удивилась Эльга. — Мы все здесь.

Еще обманывая себя надеждой, мы обыскали весь берег и лес около — их нигде не было. Золотозубый стоял на

прежнем месте и, погруженный в глубокое и мрачное франтовство, налаживал брюки, красиво напуская их на сапоги.

— Тут было двое наших, не видели, куда они делись? — обратился к нему взволнованный Шура.

— Это почему же они ваши? Они сами по себе, — отозвался тот, выплюнув молнию. — Ваши вон стоят, а те — на работу, что ли, опаздывали, да не хотели вас отвлекать своим прощанием, велели мне за них попрощаться. Так что счастливо.

Как-то сразу устав и помертвев, мы побрели назад, к поджидавшим нас археологам. Все они вдруг показались нам скучно похожими друг на друга: Эльга — жестокой и развязной, однорукий — чопорным. Мы и тогда знали, конечно, что это не так, но все же дулись на них за что-то.

Целый день мы записывали их рассказы: о их работе, о Тагарской культуре, длившейся с седьмого по второй век до нашей эры. Мне тоскливо почему-то подумалось в эту минуту, что все это ни к чему.

— Мы напишем прекрасную статью, романтическую и серьезную, — ласково ободрил меня Шура.

— Да, — сказала я, — только знаете, Александр Семенович, вы сами напишите ее, а я придумаю что-нибудь другое.

Вечером разожгли костер, и с разрешения профессора нам торжественно показали находку, которой все очень гордились.

Это был осколок древней стелы, случайно обнаруженной ими вчера в Курганах. Эльга осторожно, боясь вздохнуть, поднесла к огню небольшой плоский камень, в котором первый взгляд не находил ничего примечательного. Но близко склонившись к нему, мы различили слабое, нежное, глубоко высеченное изображение лучника, грозно поднимающего к небу свое бедное оружие. Какая-то трогательная неправдоподобность была в его позе, словно это рисовал ребенок, томимый неосознанным и могучим предвкушением искусства. Две тысячи лет назад и больше кто-то кропотливо трудился над этим камнем. Милое, милое человечество!

В лице и руках Эльги ясно отражался огонь, делая ее трепетной соучастницей, живым и светлым языком этого пламени, радостно нарушающего порядок ночи. Я смотрела на славные, молодые лица, освещенные костром, выдаю-

щие нетерпение, талант и счастливую углубленность в свое дело, лучше которых ничего не бывает на свете, и меня легко коснулось печальное ожидание непрременной и скорой разлуки с этими людьми, как было со всеми, кого я повстречала за два последних дня или когда-нибудь прежде.

— Как холодно, — сказала Эльга, пожившись, — скоро осень.

Я тихонько встала и пошла в деревья, в белую мглу тумана, поднявшегося от реки. Близкий огонь костра, густо осыпающиеся августовские звезды, теплый, родной вздох земли, омывающий ноги, — это было добрым и детским знаком, твердо обещающим, что все будет хорошо и прекрасно. И вдруг слезы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки. Я радостно засмеялась этим слезам и все же плакала, просто так, ни по чему, по всему на свете сразу: по Ане, по лучнику, по Ивану Матвеевичу и Ване, по бурундуку, живущему на горе, по небу над головой, по этому лету, которое уже подходило к концу.

## БАБУШКА

Чаще всего она вспоминается мне большой неопределенностью, в которую мягко уходят голова и руки, густым облаком любви, сомкнувшимся надо мной, но не стесняющим моей свободы, — бабушка, еще с моего младенчества, как-то робко, восхищенно, не близко любила меня, даже ласкать словно не смела, а больше смотрела издали огромными, до желтизны посветлевшими глазами, пугавшими страстным выражением доброты и безумия, навсегда протянув ко мне руки. Только теперь они успокоились в своей застенчивой, неутоленной алчности прикоснуться ко мне.

Я вообще в детстве не любила, чтобы меня трогали. Гневный, капризный стыд обжигал мою кожу, когда взрослые привлекали меня к себе или видели раздетой. Особенно жестоко стыдилась я родных — к немногим людям одной со мною крови, породившим меня, я навсегда сохранила неловкую, болезненную, кровавую корявость, мукой раздражающую организм. Даже Рома, собака моя, тесно породнившийся со мной, за долгое время моей одинокой, страстной близости к нему, повторяющий мои повадки, очень известный мне, умеющий глянуть на меня взором бабушкиного прощения, подлежит в какой-то мере этой тяжелой сложности, мстящей за физическое единство.

К чужим у меня не было такой резкости ощущений, такой щепетильности тела. Однажды дурной, темный чело-

век, попавший в дом, когда никого не было, кроме домработницы Кати, нечистой своею рукою попытался погладить мою детскую голову. Я брезгливо, высокомерно оттолкнула его. Но стыда во мне не было, даже когда вошла Катя и кокетливо улеглась животом на подоконник, открыв безобразные, закованные в синие штаны ноги.

Зато когда мать захотела сняться в море со мной, восьмилетней и голой, на руках, я бросилась бежать от нее, оступаясь на камнях гудаутского пляжа, и долго еще смотрела на нее восточным, исподлобным способом, которым очень хорошо владела в детстве.

Но бабушка, может быть, именно из-за безумия, кротко жившего в ней, своей влюбленной в меня слепотой чутко провидела кривизну моих причуд и никогда не гневилась моего гордого и придиричивого детского целомудрия. Казалось, ей было достаточно принять в объятия воздух, вытесненный мной из пространства, еще сохраняющий мои, только для нее заметные, контуры.

Степень моего физического доверия к родным установилась обратно моей к ним причастности: бабушка, тетка моя Христина, потом мама.

В баню я ходила только с бабушкой, но и тогда я не испытывала непринужденности моего ребенка, снисходительно выставляющего под мочалку руку и ногу. Предубежденным глазом злого начальника, ищущего желанного изъяна, я, сквозь боль мыла, косилась на бабушку, на ее маленькое жалкое тело с большой, подрагивающей головой, на белую седину которой нанесена трудно смывающаяся пестрота — она всегда пачкалась о Христинины краски, на нетвердые беленькие ноги. И злорадно заметив ее бедно поникший живот с уголком козье-седых слабых волос, в каком-то злобном отчаянье толкала его серым острием шайки.

По двум старым, чудом уцелевшим фотографиям можно судить, что бабушка была очень высокая — много выше мужчины в нарядных праздничных усах, запечатленного рядом с ней, сильно и угрюмо стройная, с мощно-свободной теменью итальянских волос, с безмерными глазами, паническая обширность которых занесена в недоброе предвидение какого-то тщетного и гибельного подвига. В крупном смуглом лице — очевидная сокрытость тайны. В наклоне фигуры, подавшейся вперед, ощущается привольное неудобство, как если бы она стояла на высоком и узком карнизе.

У нее было четыре мужа, трое детей — девочка Елена умерла в младенчестве — и одна внучка. Может быть, из-за этой, все упрощающей единственности моей, бабушка, холодком осенившая мужей, неточно делившая любовь между дочерьми, с болью и скрипом резкого торможения, свою летящую, рассеянную, любвеобильную душу остановила на мне. Ее разум, тесный для страстного неразумия, которым она захворала когда-то, мятущийся, суматошный, не прекративший своего ищущего бега даже перед преградой лечения, неопределенно тоскующий о препятствиях, замер наконец и угомонился под спасительным шоком моего появления на свет. Бабушкины разнонаправленные нервы, легко колеблемые жалостью, любопытством, вспылчивостью переживаний, влюбчивостью во все — конически, конечно, сосредоточились на мне, и это не было моей заслугой, — бабушка заранее, за глаза, неистово, горько и благоговейно полюбила меня 10 апреля 1937 года.

В детстве я знала, что бабушка родилась давно, в Казанской губернии. Ее девичью фамилию внес в Россию ее дед, шарманщик и итальянец. Я думаю теперь — что привело его именно в эту страну мучиться, мерзнуть, умирить обезьяну, ожной мрачностью дикого взора растлить невзрачную барышню, случайно родить сына Митрофана — и всё там, близко к Казани, где его чужой, немислимый брат по скудному небу, желтый и раскосый, уже хлопотал, трудясь и похохатывая, уже вызывал к жизни сына Ахмадуллу, моего прадеда по отцовской линии. Какой долгий взаимный подкоп вели они сквозь непроглядную судьбу, чтобы столкнуться на мне, сколько жертв было при этом. Отец бабушки был доктор, в Крымскую кампанию врачевавший раненых, мать смелым и терпеливым усилием практичного и тщеславного ума обрела дворянство и некоторое состояние. У них, сколько я помню по моим детским слушаниям, было шестеро детей обоего пола поровну. Старшие сыновья, своевольные и дерзкие, дырявили из роготок портреты не очень почтенных предков, привязывали бабушку за ногу к столу и учились в кадетском корпусе. Что с ними, бедными, любимыми мной, плохими, дальше случилось в этом мире, я не знаю. Младший, несколько флегматичный и очень честный и добрый, стал известным революционером. Бабушка только с ним, до его смерти, держалась в родстве, восхищалась им, и мне казалось, что в ней навсегда задержалась нежная благодарность к нему за то, что он не привязывал ее за ногу. Мне и от других

людей доводилось слышать, что он всегда был честен и добр, но его точной яркости я не усвоила. Старшие сестры бабушки Наталия и Мария Митрофановны были красавицы, певшие прекрасно, сильно итальянского облика и нрава, надолго заключенные в девичество корыстью матери и вступившие обе в трагический брак. Они жили какими-то порывами несчастий и умерли в сиротстве, украшенном глубоким психическим недугом. Моя мать помнит одну из них, еще прекрасную, но уже казненную болезнью, жадной судорогой тонких рук собирающую, выпрашивающую, воруящую разные ничтожные вещицы. Видимо, тяжело оскорбленная в своей красоте и бескорыстии павшей на нее тенью великих светил: Жизни, Любви, Надежды, — она доверяла только маленьким и безобидным солнышкам мира: жестяным баночкам, стекляшкам, конфетному серебру, осколкам зеркал, утешаясь их кротким, детским блеском. У бабушки, хотя болезнь давно оставила ее, тоже сохранилась страсть к пустяковым предметам, но она строго выбирала из них только те, которые казались ей отмеченными милостью моего следа: мои коробки, обертки моих конфет, обрывки моих рисунков, благодарности и письма печатными буквами многим животным моего детства. Все это и посейчас цело или исчезло вместе с ней, копившей их так скаредно и любовно...

Бабушка была младшим, некрасивым и нелюбимым ребенком в семье. Вероятно, мать ее к тому времени уже устала бороться, терпеть тяжелое хозяйство, принимать в себя острую, ранящую ее тело итальянскую кровь и разводить ее своей негустой, российско-мещанской кровью, чтобы смягчить черноглазие и безумие будущих детей, которые все разочаровывали и охладили ее своими неудачами. Я думаю, что ей, властным и равноправным участием скудного организма, кое-как удалось полуспасти, полуисправить судьбы всех ее потомков: благодаря ее трезвому здоровью безумие в нашей семье всегда было не окончательным, уравновешенным живой скудостью быта, страшная чернота зрачков подкрашена ленивой желтизной, неимоверному, губельному запросу глаз отвечаю бесплодностью и скука существования. Но я все же надеюсь — может быть! — свежее азиатство отца, насильным подарком внесенное в путаницу кровей, освободит меня от ее опрометчиво-осторожного полуколдовства, даст мне жить и умереть за пределами тусклости, отвоеванной ею у трагедии!

Будучи маленькой гимназисткой, бабушка всей страстью сиротливой замкнутости полюбила старшую воспитанницу, которая оказывала ей снисходительное покровительство, звала «протезешкой» и потом осмеела во всеуслышание бабушкины детские дневники, доверенные ей порывом признательности. Подобные истории случаются со всеми детьми, но бабушке никогда не удавалось вырасти из тихой, почти юродивой безобидности, непременно вызывающей злые проявления старших и сильных характеров. Уже в конце бабушкиной жизни чем фантастичнее, карикатурнее становились ее доброта и кротость, тем яростнее они гневли и смешили соседей и прохожих, передразнивавших ее сбивчиво-возвышенную речь, брезгующих разведенным ею зверинцем, презирающих даже ее бескорыстие к еде, которую бабушка пробовала укрощать на кухне, но всегда выходила побежденной из неравной схватки с кастрюлей или сковородкой. Кроме того, постаревшую бабушку в магазинах стали принимать за еврейку, и она кротко сносила и этот, уже лишний, гнев.

В какое-то время юности бабушка была в гувернантках в семье Залесских, людей богатых, веселых, забывавших ее обижать. И только младшая их дочь Зинаида немного терзала бабушку резкостью нрава и неожиданностями рано и дерзко созревшего организма. Бабушка однажды вспомнила об этом, но почему-то и мне запомнилась их фамилия, беззаботный дом и большой сад, с горы впадающий в реку, и то, как они на лодках отправились на пикник, не взяв с собой бабушку и Зинаиду, и Зинаида, стоя на ветру горы, кричала им вслед: «Я, Зинаида Залесская, пятнадцати лет, желаю кататься на лодке!»; а когда, не вняв ей, они скрывались из виду, воскликнула с веселым высокомерием, дернув крючки, соединяющие батист: «Дураки! Смотрите! У меня грудь и все остальное взрослее и лучше, чем у мадемуазель Надин!» Бабушка отчетливо помнила и любила все, что противостояло ее скромной тишине, видимо, тоскуя по бурности, которую велел ей шальной юг шарманщика и возбраняла жесткая умеренность матери. А я не забыла этого пустыка потому, что он жил там, где я хотела бы жить: в том доме, в том саду, в той единственной стране, осенившей меня глубоким ностальгическим переживанием, которую я, любимой литературой, не узнаю, а будто вспоминаю — как древнюю до-жизнь в колыбели, откуда меня похитили кочевники.



Под влиянием доброго брата, поддерживающего ее в семейной одинокой угнетенности, бабушка резко рассталась с семьей и уехала в Казань на фельдшерские курсы. (Я перечисляю, сколько помню, ее жизнь не потому, что события ее сюжета представляются мне эффектными и замечательными, а скорее из уважения к ореолу многозначительной жалкости, бледно взошедшему над всеми нами, над скудной полутьмой наших драм, а также пробуя объяснить, чем образ бабушки, лишенный яркого острия, остро и больно поразил мое зрение и не раз мягко одернул меня в самонадеянности или начале бесполезного зла.) Она увлеклась идеями свободы и равенства, участвовала в сходках и маевках, хранила за корсетом прокламации и возглавляла недолгий революционный кружок. Две товарики по этому кружку более полувека спустя отыскиали и провели бабушку в ее узкой, длинной, холодной комнате, имеющей в виду закалить человека перед неудобствами кладбища. Чопорные, черно-нарядные, вечно-живые старухи с безгласным ужасом переступили порог бабушкиного беспорядка, подхватив юбки над опасным болотом пола, населенного нечистью наших зверей. Рассерженные глубиной ее падения, словно и на них бросившего обидную тень, они строго и наставительно говорили с бабушкой, грозно убеждали ее добиться увеличения пенсии, сияя лакированными револьверами черных ботинок. Она безбоязненно летала вокруг них на нечистых бумазейных крыльях, умиленно лепеча и не слушая, всему поддакивая непрочным движением головы, совала им белый чай, конфеты, слипшиеся в соты, ливерную колбасу, предназначенную коту, тут же отнимала все это, освобождая их руки для моих детских рисунков и стихов. И, в довершение всего, сначала объявила — чтобы подготовить их к счастливому потрясению, а затем уже привела маленькую и угрюмую меня как лукаво скрытый от них до времени, но все объяснивший наконец довод ее ослепительного и чрезмерного благополучия. Они холодно и без восхищения уставились на мой бодающе-насупленный лоб и одновременно пустили в меня острые стрелы ладоней. Это, видимо, несколько повредило им в глазах бабушки, потому что вдруг она глянула на них утешившейся желтизной зрачков с ясным и веселым многознанием высокого превосходства. Мы вышли провожать их на лестницу, и бабушка снова радостно лепетала и ветхо склонялась им вслед, туманно паря над двумя черными и прямыми фигурами, сложенными в зонты.

Молодую бабушку то и дело сажали в тюрьму: по чьим-то оговоркам и оговорам, по неспособности охранить себя от расплюсов слезки и обысков, по склонности, радостно и отвлеченно увеличив глаза, принять на себя всеобщую вину революционных проступков. Жандармы упорно и лениво, как спички у ребенка, постоянно отбирали у бабушки саквояжи с двойным дном и привычным жестом — пардон, мадемуазель, — извлекали папиросную бумагу, адресованную пролетариям всех стран, из горячей тесноты ворота.

Последним, некрасивым и нелюбимым ребенком родилась и росла бабушка, и в этой же неказистой, несмелой осанке прожила долгую жизнь. Детский страх перед собственной нежеланностью и обременительностью и в старости сообщал ее облику неуверенное, виноватое, стыдливое выражение.

Более всего и ужасно, до своевольного хода подрагивающих головы и рук, бабушка суетливо боялась, как боятся бомбежки, принять на себя даже мельк чьего-нибудь внимания, худобой своей, округленной в спине, загроздить пространство, нужное для движения других людей. Старея, бабушка становилась все меньше и меньше, словно умышленно приближала себя к заветной и идеальной малости, уж никому не нужной и не мешающей, которую обрела теперь, нищей горсточкой пыли уместившись в крошечный и безобразный уют последнего прибежища.

Несмотря на грозные скандалы моей матери, бабушка, настойчиво и тайком, почти ничего не ела, словно стыдясь обделить вечно открытый, требующий, ненасытный рот какого-то неведомого птенца, и чтобы задобрить алчность чьего-то чужого голода, угнетающего ее, она подкармливала худых железных котов, со свистом проносившихся над мрачной помойкой нашего двора, и прожорливую птичью толчею на подоконнике.

К маминому неудовольствию и стыду перед соседями, бабушка одевалась в неизменный гномий неряшливый бумазейный балахон, в зимнее время усиленный дополнительной ветошью, и спала на застиранной, свято и смело оберегаемой, серенькой тряпице — восемьдесят лет искупая вину изношенных в детстве пеленок и рубашек, угрюмо пересчитанных ее матерью, страстно боявшейся смерти своего добра, в муках порожденного ею.

Ее суровая, непреклонная мать все чаще покидала гаснущее имение на произвол пьяных и сумасшедших людей,

Но она долго не могла решиться, боясь, что имя мое, всегда потрясавшее бабушку, теперь причинит ей вред.

— Мама, — осторожно и ласково сказала Христина, — только ты не волнуйся... к тебе Беллочка пришла...

— А, — равнодушно отозвалась бабушка половиной губ и голоса.

И вдруг я узнала свой худший, невыносимый страх, что Христина сейчас отойдет, и я увижу, и у меня уже не будет той моей бабушки, которая не позволит мне увидеть эту мою бабушку, как никогда не позволяла ничего, что может быть болью и страхом.

Все же я присела на край ее чистой постели и слепым лицом поцеловала ее новый чистый запах.

— Скоро умру, — капризно и как будто даже кокетливо сказала бабушка, но мне все уже было безразлично в первой, совершенной полноте беды, каменно утяжелившей сознание.

На мгновенье живая сторона бабушкиного тела, где сильно, предельно умирало ее сердце, слабо встрепенулась, сознательно прильнула ко мне неполной теплотой, и один огромный, бессмертно любовный глаз вернулся ко мне из глубины отсутствия.

— Иди, я устала, — словно со скукой выговорила бабушка и добавила: — Убери, — имея в виду тоскующего, потускневшего Петьку, жавшегося к ней. Видимо, всё, что она так долго любила и жалела, теперь было утомительным для нее, или, наоборот, она еще не утомилась любить и жалеть нас и потому отстраняла от себя сейчас.

## СКУКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ В БАРСКОЙ УСАДЬБЕ\*

Как любил он прежде встречать в серебряном стекле свое пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной пропорции, приятная плавность линий и оранжерейные усы драгоценного отлива. Глаза красиво помещены чуть навыкате, в стороне от ума, не питающего их явным притоком, — светлые, бесхитростные глаза, надобные для зрения и общей миловидности, а не для того, чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах другого и противоположного устройства, и поныне опаляющих воображение человечества, когда-то сделал он следующую запись: «Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей».)

Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах — это грубоватость их предыстории, винные откупы обожаемого батюшки — и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шелковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.

---

\* Глава из новеллы «Лермонтов. Из архива семейства Р.» (1972).

в своем доме, по ночам чувствуя на себе острый двухгононьковый взор, не предвещающий добра, но и их нам с бабушкой повелось простить. Военный, охраняющий соседнее учреждение, смеясь испугу детворы, вышвырнул носком сапога большую, рыжую, в кровь полуубитую крысу. Оставшись наедине с ней на мостовой переуллка, исподлобья оглянувшись на веселого военного, я торжественно пересилила содрогание тела, близко нагнулась и взяла ее в руки. Крыса ярко глядела на меня могучим взглядом ненависти, достойным красивого сильного животного, как будто именно отвращение ко мне было причиной ее смерти. Я повлекла ее все в том же единственном направлении, где моя свобода была безгранична, и, наверно, моя чистая жалость к живому укреплялась злорадным измывательством над собой и, в отношении бабушки, некоторой ядовитостью, желавшей подразнить и испытать ее вседоброту. Но бабушка, не знавшая такой сложности, без гнева и удивления увидела меня с умирающей крысой в руках, осенив нас ясным, односмысленным вздохом сострадания.

Еще и теперь плывет, доплывает бедный бабушкин ковчег, уже покинутый ею, не управляемый рассеянной старенькой Христиной, спасающей бледного, розового кота Петю и целое племя некрупных, лепечущих голубей.

Бабушка не то что была щедра — просто организм ее, легкий, простой, усеченный недугом странности, уместил в своем ущербном полумесяце только главное: любовь и добро, не усвоив вторых инстинктов: осторожности, бережливости, зависти или злобы.

Она суеверно тяготилась всяким довольством, даже нищую пенсию вкладывала для меня и для Христины в толстую книгу о детских болезнях, лежавшую на виду, — как помнится мне эта книга, привыкшая открываться на одной странице, изображающей больного, засохшего ребенка с упавшей головой и нескрытым обилием ребер и костей, не сумевших помочь его прочности. Там-то и хранилось бабушкино богатство, словно принесенное в жертву маленькому нездоровому богу, достойному всей жалости мира. (Ключа у бабушки и подавно не было, и однажды кто-то насмешливо ограбил этого хилого заветного младенца.)

Как-то летом, на все свои праздничные деньги, я приобрела дюжину серебряных елочных слонов — меня почему-то до беспокойного, сводящего с ума ощущения щекотки поражало большое количество одинаковых предметов. По-

рицаемая и осмеянная всеми, я с одиноким ревом уткнулась в бабушку, и она, подыгрывая то ли моему детскому безумию, то ли безумию старших сестер, восхищенно воззрилась на тупое, дикое, слоновье серебро, сбивчиво прославляя мою удачу. Мы купили еще восемь слонов, обеднив рахитичного бога, — у меня засвистело, засверкало в мозгу — и, захлебываясь смехом, стали всех их раздавать или тихонько подсовывать детям в Ильинском сквере, почти никто не брал, и бабушка испуганно улепетывала вместе со мной, шаркая обширной рванью обуви.

И, вероятно, не моя доброта велит мне спяну или всерьез освобождаться от легкой тяжести имущества, а веселая бабушкина лень утруждать себя владением.

Бабушка до предпоследнего времени много и живо читала, просто и точно различая плохие и хорошие книги слабым, помноженным на стекла зрачком, много раз изменившимся в цвете, уже поглубленном катарактой. Она не умом рассуждала чтение или слушание, а все той же ограниченностью в добре, не знающей грамоты зла. Вообще она ведала и воспринимала только живые, означающие слова, чья достоверность известна ошупи, всякое пустое, отвлеченное многословие обтекало ее, как чужая речь. Когда с маминой работы явилась комиссия проверять и осуждать мое воспитание, бабушка долго, почтительно, натужно подвергала ухо красноречию, трудному для нее, как не-музыка, и вдруг, поняв телом реальный смысл моего имени, мигом разобралась во всем и, страшно трясая головой, возобновив болезнь голоса, крикнула: «Вон!»

Бабушка восхищалась мной непрестанно, но редким моим удачам удивлялась менее других — уж она-то предусмотрела и преувеличила их заранее. Что бы ни случилось со мной, уж никому я не покажусь столь прекрасной и сильной для зрения, только если притупить его быстрым обмороком любви, влажно затемняющим веки.

Последний раз, после долгого перерыва, я увидела бабушку уже больную предсмертием, поровну поделившим ее тело между жизнью и смертью, победившим наконец все ее привычки: чистая, на чистом белье, с чистой маленькой успокоенной головой лежала бабушка и с ложечки ела протертые фрукты, о которых прежде думала, что они для меня лишь полезны и съедобны.

— Подожди, — прошептала Христина, заслоняя меня собой, — я сначала предупрежу ее.

чей хоровод жутко смыкался вокруг подвига ее здравомыслия, и падала ниц, смущая немилосердные начальственные ноги, чтобы прижать к груди большую голову нелюбимого ребенка.

Бабушка вступила в фиктивный брак с молодым революционером, нужный ему для разрешения на выезд, и навсегда сохранила фамилию, дарованную ей этим бедным условным венчанием. Бабушка увезла его за границу, но Швейцария только усугубила его болезнь, выбирающую лёгкие испуганных людей; им надлежало срочно вернуться, но здесь имела место смутная, нечистая история с растратой денег, нужных для этого, какими-то товарищами, на счастливые десятилетия пережившими жертву своей неаккуратности, — бабушка никогда не говорила об этом. Наконец, они попали на юг России, как неблагонадежные люди, по случаю проезда царя были на три дня заключены в тюрьму, где иссякла не знавшая удержу кровь первого бабушкиного мужа.

Это было в самом начале века, еще до революции пятого года, и с этого времени, во всяком случае, по моим детским представлениям, начался несердцебиенный, полусонный провал бабушкиной жизни. Но, вероятно, я недооценивала его горестной остроты: бабушка в Нижнем Новгороде родила Христину, была окончательно отвергнута семьей и, оставшись без средств, отправилась в Донбасс на эпидемию холеры. Там она долгое время работала и жила во флигеле на больничном дворе, подвергая постоянной опасности старшую дочь и спустя несколько лет родившуюся маму (мама болела в лад со всеми, кто болел под бабушкиным присмотром). Четвертый муж бабушки, тот, украшенный усами, тяжело любил ее, теряя достоинство скромного мещанина, удочерил ее детей и был ~~им добрым отцом~~, пока и его не скрыл туман, завершавший все линии бабушкиной судьбы. Бабушка по мере сил воспитывала дочерей, учила их рисованию, языкам и музыке, к которым они обе не были расположены. Христина так и не научилась ничему, даже живописи, которую она всю жизнь любила так безответно, — а мама, усилием маленького, поврежденного болезнями тела, всему. Но только Христина умеет любить, жалеть и прощать. Разумеется, и жизнь на скучном, нищем руднике не обошлась без неизлечимо-буйной женщины, вырывавшейся подчас на гадкий простор больничного двора: нагая, в нечистом вихре великих волос являлась она на

пыльное солнце мгновенной свободы, чтобы диким криком «Изыди, сатана!» огласить детство мамы и тетки, даже меня напугать воспроизведением страшного ыканья этой мольбы, предупреждающего о мучительном и непосильном гнете: «Изы-ы-ди!»...

То, что бабушка была «милосердной сестрой» — «чьей» — «всех, кому нужно», — в раннем детстве было понято и использовано мной. К ней, к ее сестринскому милосердию, тащила я многочисленных слабых уродцев, отвергнутых моей мамой: белого щенка с огромным розовым животом, слепую морскую свинку, кролика с перебитыми ногами, кошек, бескрылых птиц и других убогих животных, чьи мелкие тела оказались огромно-лишними в избытке мира и униженно существовали вне породы. Бабушка всех их принимала в свое темное гнездо, равно воздавая им почести, заслуженные рождением. От нее, ныне мертвой, научилась я с нежным уважением выговаривать удивленно и нараспев: «Живое...» — стало быть, хрупкое, беззащитное, нуждающееся в помощи и сострадании. Однажды, когда тиканье малых пульсов, населивших ее комнату, грозило перерасти в сокрушительный гул, я купила и принесла домой только что вылупившегося инкубаторного цыпленка, и мама, не допустив меня к бабушке, будто навсегда захлопнула передо мной дверь в той непобедимой строгости, которая подчас овладевала ею и с которой ничего нельзя было поделать. Поникнув плачущей головой, я медленно спустилась по лестнице и уселась на пол за дверью, охраняя ладонью крошечную желтизну, осужденную и проклятую великим миром. Я слышала, как мимо прошел наверх отец, другие матери звали других детей, и мне страшно представилось, что я буду сидеть здесь всегда, заключенная в тюрьму между стеной и дверью. Двадцать лет спустя я помню, что мне пришла сложная, горячая мысль убить маленькое вздыхающее горло, и я примерила круг двух пальцев к узкому ручейку крови и воздуха, беззащитно текущему сквозь него. Но пальцы мои не сомкнулись — раз и навсегда, я радостно, свежо заплакала над своим и всеобщим спасением, и, в благодарность Бога мне, надо мной тут же склонилась отыскивающая меня бабушка и немедленно вознесла меня и цыпленка в спасительный рай своей любви, пахнувший увядшим тряпьем и животными.

Мы все очень боялись крыс после того, как, вернувшись из эвакуации, долго выпрашивали у них возможность жить



Некоторые, особенно счастливые, свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища прохлады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой свое прельстительно молодое лицо, локон, припотевший к виску, сильную, жадную до воздуха шею — все это в отчетливом многозначительном ореоле. Стоял и смотрел, покуда судьба, рыщущая в белых сумерках, не приметилла молодца для будущей важной надобности. И еще в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на округлом повороте резко, наотмашь отразился в упоительном стекле: впервые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлогах челе мету неутолимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примерить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но еще половина лестницы оставалась ему, и выше крайней ее ступени ничего не будет в его жизни — то была вершина его дней, его Эльбрус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.

Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с капризным дамским комфортом, но зеркало, окаймленное тяжелым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении его было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бодрый, резвый человек, в свободную минуту пускавшийся шалить с маленькими дочерьми и сыновьями. Да, видно, вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.

Отвлечшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые куртины палили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скучные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило, только вершины гор и избыток звездного неба внушали неприятную робость, схожую с предчувствием недуга, посягающего на непечную плоть.

Почты он не ждал и не хотел: через ее посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением приноживающегося к святине его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передернуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протезе побледнел, словно от смерти.

Третьего дня соскочил с его дороги потертый, плюгавый господинчик, устремивший на него нелепую трагическую гримасу, в смысл которой и вчитываться не стоило. На белом свете толкутся тьмы таких бесцельных людишек, даже не помеченных для порядку разнообразием внешности. Точно такого же невежу встретил он давно, выйдя из несильной короткой тюрьмы на дозволенную целебную прогулку: тот так же тарацился, разыгрывая лицом целую драму, и долго не пил воды, брезгливо дожидаясь полной перемены минеральной струи. Третий близнец вмешался в толпу зевак при его венчании, выставлял физиономию и натужно мигал, нагнетая в зрачки фальшивый адский пламень. Эти курьезные действия не предвещали браку добра, что вскоре и подтвердилось.

Он давно уже собирался выразить отпор всем нескромным задирам, а отчасти и собственной маленькой неуверенности, иногда крепчавшей до явного неудобства, и только ждал нужного дня.

Утром особенного дня, на который возлагал он большие надежды, он пробудился живей, чем обычно, сразу приглянулся серебряной Диане, приласкал усы и за кофею с такой отдаленностью соотносился с домашними, словно дивился и сострадал их незначительности и птичьему вздору речей. Сегодня он ждал от природы участия и подъема, но она смотрела в окна по-прежнему бесцветно и глупо, как белая деревенская девка.

Словно побуждаемый свыше, строго прошел он в кабинет, присел к хрупко-громоздкому, французской работы столу для умственных занятий и, обмерев от силы момента, плеснувшего за ворот холодком, красиво и крупно вывел вверху листа дорогой бумаги: «МОЯ ИСПОВЕДЬ». Далее — сбоку и мелко — «15 июля 1871 года, село Знаменское». И

единым духом, без остановки: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли».

Так вот это кто. Вот зачем ему именно этот день. Как многие обыкновенные люди, он полагался на необыкновенность обстоятельств, чтобы спутать их с собственной заслугой. Роковая округлость даты должна была взбодрить нервы, продиктовать уму скрытый от него смысл. Он фатум приглашал в соавторы своей руке, чьим вкладом в дело был красивый, холеный почерк. И резво бежала рука.

«Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятли малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера».

Почти жизнь. Как сказать. Сам он проживет вдвое больше. Второму участнику происшествия и до этого неполного срока недоставало четырех лет. Но — бледнейте, грядущие литературоведы: ему памятли подробности! Затаим биение сердца и станем заглядывать за плечо, одетое стеганным домашним шелком.

«Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен...»

О, вот оно, сбылось! Не зря он ждал! Сторонняя сила причинила ему состояние, в котором он не имел опыта и которому названия не знал, а это было вдохновение, взлет в чужую пугающую высь, откуда он ясно увидел, что ржавый вкус, и тревога, и вялое ожидание облегчающей перемены — все это было близость его собственной смерти, очень существенной и трогательной до слез. Он не отшатнулся от этого откровения, а даже усугублял его, немного любясь собой и тайком заговаривая судьбу: может, и не сбудется, да и не теперь же, немедленно, ему умереть, а выгода незаурядности, возвышающей его над беспечно живыми людьми, уже есть, и не им корить человека, сознающего предсмертие. Да ведь если он умирает, его столкновение с умершим кончено миром, они уже сравнялись и никто не виновен. Он впервые примерил смерть к себе, еще совершенно живому, и это было настолько больше и важнее всего, о чем он собирался писать, что чувство стало убывать, и остатком его он продолжил:

«Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел».

Он добросовестно отложил перо, затумявил глаза и тут же увидел требуемую личность, которая, как всегда, неприятно поразила его. Нервы его сразу обострились против фантазеров, теперь влюбившихся в эту личность за красоту собственных фантазий. Виновен ли он, что эта личность, обратная и противоположенная ему всеми недостатками и добрыми качествами, всю жизнь настигала его, задираала, набрасывалась с дружелюбием, звала к Яру, зарифмовывала черт-те с чем, искала в нем пустого места для жгучих неблагоприятных выходов. Даже при вдруг кротком Лермонтове он ощущал неуютное беспокойство, как в горах, когда пейзаж притворяется идиллией, а затылок подзревает на себе прищуренный черкесский глаз. Он не умел отличать самолюбия от чувства чести, отчего площадь его уязвимости была искушающе огромной и требовала неусыпной придирчивой охраны. Еще в юнкерской школе он раз и навсегда предупредил, что с ним шутить нельзя.

Если бы Лермонтов искал себе убийцы или, напротив, опасался его, он бы вспомнил, как озорничала предводительствуемая им «Нумидийская конница». Как оседлавшие друг друга сорвиголовы, облаченные в простыни и вооруженные холодной водой, врывались ночью в расположение новичков и повергали их в смятение и сырость. Как один хорошенький юнкер, обычно имевший в лице простодушное выражение девичьего недомыслия, насупилсь и напрягся для боя, и лицо его, побелевшее целиком, вместе с глазами, не умещалось в игре и не сулило пощады. Главный нумидиец засмеялся и завернул эскадрон. Фамилия победителя была — Мартынов. А это вам не Есаков, которого Лермонтов продрознил всю осень сорокового года (в Чечне) и всю последующую зиму (в Ставрополе), однако не был за это убит. Есаков: «...он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл».

Все их приятельство, общие гостиные, обеды, карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее неудобство, от которого он и теперь не мог отдохнуть. Он тратил на один предмет одну мысль — так же просто и четко, как обходился одним глазом для прицела, и эта экономность ума предрешила исход их долгих отношений. Лермонтов же явно не умещался в одно мнение, рассудок не поспевал

за ним и терпел эту неудачу как новое маленькое оскорбление. Всей этой зауми Мартынов, разумеется, не знал, но у него были и другие, известные ему причины быть недовольным. Начать с того, что он считал красоту или хотя бы благообразность не переменным условием порядочности. А Лермонтов назло ему был дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шел к седлу, даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-мужицки, а по-разбойничьи, — не говоря уже о его зверских прыжках и шалостях! Мало этого — он таинственным образом заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало. Главное же было в том, что при нем Мартынов начинал сомневаться в своей безукоризненной приглядности, в правильности туалета, в храбрости скакать по горам, в находчивости вести беседу и — в крахмальной опрятности совести.

От Лермонтова сквозило или пекло, что составляло целую лихорадку, и он скучал, если не на ком было ее выместить. Когда брошенный Лермонтовым полтинник упал решеткой вверх, в пользу каприза, Пятигорска и гибели, в чем, скажите, виноват был Мартынов? Он мирно спал, когда явился за ним чернявый Найтаки, державший гостиницу: дескать, прибыли и желают видеть без промедления. Он доверчиво пошел, следуя выносливой привязанности: Монго лежал с львиной грацией и ленью, а Лермонтов так и прыгнул обнимать и звать «Мартышкой». Несносность его крепла еще два месяца.

Но исповедь предполагает осуждение себя, а не других, и он силою стал наводить мысль на хорошие черты Лермонтова, похвалы которым он и не думал скрывать. Первыми в их списке были: очень белые, удобные для насмешника зубы, даже слишком крепкие и сильные для дворянина, и неизменно безупречное бельё. Следовало одобрить и халат цвета тины, опоясываемый снурком с золотыми желудями на концах. Хваткие руки ниже запястья — благородной формы и белизны, ладони свежие, с примечательным раскладом линий, по цыганской грамоте — неблагоприятным. Мартынов кочующим и прочими племенами гнушался, вещунов избегал и ладонями разбрасывался с предосторожностью, потому что усвоил и передал фамильную — лучше бы сказать по-французски! — потливость, относящуюся не к исповеди, а к нашему злословию. К достоинствам Лермонтова относились также: превосходная ловкость в обращении с оружием всех видов, даже и с рапирой, не давшей-

ся Мартынову из-за чрезвычайного страха щекотки, точное и смелое чувство лошади (при некрасивой посадке), замечательная легкость в танцах. Кабы не преувеличенные им до крайности, могли нравиться в нем общие для гусар отличия, в ту пору еще соблюдаемые. Так, он нисколько не щадил денег (правда, не был учен нуждой), в удалом кутеже оставался трезв, лишь бледнел и темнел глазами, был беспечен к опасности и, хотя мало кого любил, любого мог заслонить в походе (отчасти из-за своего фатализма). И все же хорошим офицером он быть не мог, так как не терпел подчиняться, не скучал о наградах и вынужден был примирять выдающуюся храбрость с непреодолимым дружелюбием к строптивым инородцам, населяющим Кавказские горы. Да и дурное сложение не обещало успехов ни в кавалерии, ни тем более в пешем фронте.

Тут он осекся, вспомнив о докучливых ревнителях Лермонтовской славы, движение которой во времени его удивляло и беспокоило. Он не знал давнего рассуждения Т.А.Бакуниной, грустившей о нравах слепого и неблагодарного общества, но с начальной его частью прежде мог согласиться: «Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал...» Ан, все обернулось иначе, и он взял более современный и ученый тон.

«Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека».

К нему самому как раз этой стороной своей личности Лермонтов совсем не оборачивался, да и от других норовил ее скрыть за видимым легкомыслием и шалопайством. Он и с Белинским вначале не хотел серьезничать, дурачил и мучил его до болезненной вспышки щек и, кажется, очень был доволен, что сумел-таки произвести тяжелое и даже пошлое впечатление, отпраздновав эту победу резким смехом. И только в ордонанс-гаузе не смог утаить себя — и как счастлив, как влюблен сделался пылкий Белинский, не когда-нибудь через сто лет, а сразу, немедленно постигший, с какой драгоценностью имеет дело, и оповестивший о ней с обожанием, с принижением себя, с восторгом.

Лермонтов и для шахмат искал только сильных партнеров, особенно отличая поручика Москалева (да и того обыгрывал). В более таинственные и деликатные игры ума Мартынов и вовсе не мог быть приглашен и не находил их занимательными. А все же он и сам знал об этом общеиз-

вестном уме, что он, точно, есть у Лермонтова, — и по убедительной наслышке, и по своему почтительному доверию ко всему непонятному, утверждавшему его причастность к мыслящему кругу. Так хорошие жены вяжут при мужской беседе, не вникая в ее смысл и пребывая в счастливой уверенности, что все это очень умно и полезно для общества, в чье умственное парение и они сейчас вовлечены.

Хорошо, что автор исповеди не может через наше плечо увидеть этого неприличного сравнения! Он твердо знал и любил свою принадлежность к полу метких стрелков, стройных наездников, храбрых майоров (в отставке). А ведь было в нем что-то дамское, что разглядел за усами капризный коварный ангел польского происхождения, толкнувший к нему бальным веером теплый воздух дурмана, заменяющий твердое «эль» заманчивым расплывом голоса и взятый им в жены. Не то чтобы она стала ревновать его к флаконам, атласу и книжкам, галантно обращенным именно к читательницам, но, после недолгой приглядки, возвела себя в чин грубого превосходства и на все его соображения отвечала маленькой улыбкой сарказма и нетерпеливым подергиванием башмачка — и это, заметьте, не только тет-а-тет, но и на виду у посторонних.

Мартынов не отрицал пользы глубокомыслия, но если очень умничали при нем, он томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного лба, поврежденного морщиной недоумения. Застав его лицо в этом беспомощном положении, Лермонтов взглядывал на него с пристальным и нежным сочувствием, но тут же потуплял глаза для перемены взора на дерзкий и смешливый. Оба эти способа смотреть на него равно не устраивали Мартынова. Тем не менее он продолжил:

«Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод...»

С наивностью, которую в нем многие любили, он ни в какой мере не соотносил себя и то обстоятельство, что молодость осталась основным и окончательным возрастом Лермонтова. Что касается до положительной оценки его как писателя, то лукавил он лишь в том, что вообще пустился в это рассуждение — для необходимой поблажки затаившимся недругам. Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя описания природы и другие длинноты,

он очень даже читал, поощряемый естественным любопытством просвещенного человека, а еще более — необоснованными наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а княжну Мери, что и вовсе глупо, — с сестрой Натальей Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не одобрял общей, предвзятой и искаженной картины той жизни, которой сам был не менее автора свидетель и участник. То, что во главу не только романа, но общества и века поставлен был озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно приукрашенные и все же неприятно знакомые черты, казалось ему нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал, что совпадает во мнении со своим августейшим тезкой, с той разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к Лермонтову он был извещен и оценил ее чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя к столь сильному монаршему чувству, из излишков которого получилась мимолетная благосклонность к нему самому. Государь, в свою очередь, не знал, что по художественному устройству природы имеет близкую родню в отставном артиллерийском майоре, с той разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на общегосударственные опасения.

Читал он и другие произведения Лермонтова. Те из них, которые были ему понятны, он считал простыми и незначительными (что ж мудреного слагать рифмы, он и сам их слагал), а более трудные и возвышенные могли быть отнесены к поэзии, да он не был до них охотник. Вольнодумство, сверх обязательной, принятой в его кругу меры, на его взгляд, никак не сочеталось с гармонией. Ему случалось слышать, как Лермонтов, не сдержав или принудив себя, говорил вслух свои стихи, но тогда Мартынова отвлекало и настораживало лицо Лермонтова, и он опять начинал ждать этого, сначала сострадающего, а потом веселого взора. Он не любил заставить на себе неожиданно мягкие, любящие и словно прощающие глаза Лермонтова, ненадолго позабытые им в этом выражении — до скорого пробуждения зрачков в их обычном, задорно-угрюмом виде. И последнее мгновение жизни Лермонтов потратил именно на такой — ласковый, кроткий, безмятежно выжидающий — взгляд. И то, что этот взгляд не успел перемениться, было неприятно Мартынову, потому что такие глаза могли быть



только у человека, который не помышлял о прицеле, не хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели. Это было неприятно, это было очень неприятно, но Мартынов стал исповедоваться не в этом, а в дурном отношении Лермонтова к женщинам.

Толковал он об этом и той, которая так выразительно подтвердила справедливость мнения о непреклонной гордыне, присущей полякам вместе с редкостной белизной кожи. В ответ на досадные и неуместные расспросы он горячился, нахваливая свой, противоположный лермонтовскому, способ влюбленности, включающий в себя открытое обожествление выбранного предмета, восточную витиеватость речей и особенные посылки томного взора. Это вело к усилению саркастической улыбки, учащенному и злобному выгладыванию башмачка и перелету глаз на потолок, где, высоко возносясь над головой красноречивого супруга, молчал и злорадствовал прельстительный господин Печорин. В результате этой многословно-безмолвной распри он, постыдно мучась, стал относить выбор жены не к себе самому, а к тому, чье присутствие в его судьбе оказалось непреодолимым и нескончаемым. Приметы других людей не исчерпывались чином, титулом, занятием и требовали личного уточнения: тайный советник — какой? — Беклемишев, князь — какой? — Щербатов, поставщик — какой? — Френзель. Даже про самодержца всея Руси можно было спросить: какой — почивший в бозе или царствующий ныне? Его же роковое звание было единственным и сводило на нет значение имени, сопровождавшего развитие многих поколений. Он был — такой-то, убийца Лермонтова, и она стала — такая-то, жена убийцы Лермонтова. Впереди маячили такие-то: сын убийцы Лермонтова, внук убийцы Лермонтова и так до скончания ставшего безымянным рода. Между тем он знал, что убийцами бывают нехристи с большой дороги, душегубцы, лютые до чужого богатства, всклоченные маньяки. А он был благородный человек, христианин, офицер, имел дом в Москве, поместье, слуг, лошадей, столовое серебро, изрядную французскую библиотеку, превосходный гардероб и никак не мог быть убийцей. Вначале он не тяготился этим определением — оно шло к его белой черкеске и черному бархатному бешмету и как бы проясняло наконец их таинственный оригинальный смысл, оказавшийся совсем не смешным, а величественно важным

и печальным. В пору плохих ожиданий, гауптвахты, следствия он делал столь сильное впечатление на дам, что шестнадцатилетняя Надя Верзилина едва не лишилась чувств, завидев его на пятигорском бульваре под стражей сонного и боязливого солдата. Старшая, Эмилия, больно поддержала сестру за локоток и учтиво залепетала о том о сем, далекими кругами обходя главное, а оно во все ее глаза смотрело на Мартынова, — он улыбнулся снисходительно и скорбно и пошел прочь. В этом ореоле явился он в Киев для церковного покаяния, мысленно примерял его, снаряжаясь на балы, им нечаянно обманул белейшую польку, согласную на любую опасность, кроме скуки, из которой она вышла благополучно — бывшей женой убийцы Лермонтова. Он страдал и простил.

Вот он сидит, освещенный убывающим пеклом июльского дня. Последние тридцать лет не прошли ему даром: победневшие волосы далеко отступили ото лба, в щеках близко видна подноготная сеточка отмершей крови, ему мало осталось жить (он не знал: четыре года). Смилуйтесь над ним — он не похож на убийцу. Матушка, голубка, провидица, она-то гением любви всегда вблизи Лермонтова страшилась за чад своих, зорко смотрела за дочерьми, особенно за Натальей, а надо было держать сына, жадно притиснув его голову к себе, к охраняющему теплу, в котором он так беспечно спал до рождения. Еще в сороковом году она писала ему на Кавказ: «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык...» Он читал это письмо в застарелом зное, размытый целебной силой воды, ему хотелось Москвы, еще не освоившей лета, только что в сирени и кисее, дома, населенного барышнями, сквозняками, гостями — под четким приглядом материнских глаз, и в молодости очень трезвых и способных к счету. После кончины батюшки, постигшей их в прошлом году, маменька словно увеличилась телом, окрепнув для одиноких вдовьих забот, и глядела не дамой, а будущей тещей, свекровью и бабушкой. Он с неудовольствием видел, как вместо него Лермонтов одолевает лестницу своими крепкими скачущими ногами и ловко склоняется к руке, для него чужой и безразличной, а для Мартынова желанной и лучшей. Как он, может быть, целое мгновение осмеивает ванильный запах и деловую прочность этой руки, а матушка неприязненно глядит на его голову, помеченную светлой

шельмовской прядью. Оба они успевают пригасить и поправить лица к началу любезной беседы, и уже слетаются со всех сторон шелест, щебет, каблучки и оборки. Или вообразил, как Лермонтов входит к сестрам в ложу и Наталья долго не оборачивается, подвергая его веселому взгляду голую, вдруг озябшую спину и всевидящий край милого напряженного глаза. Привлекательность, радостная и необходимая в других женщинах, в сестрах казалась ему рискованной и обреченно-беззащитной, а применительно к Лермонтову требующей неусыпной старшей опеки. Это сильное чувство, разделяемое матерью, он не использовал для своего удобства во время печальных объяснений: нет, злобы не питал, предлога для ссоры не искал. В то последнее лето язык Лермонтова был таков, как указывалось в письме, и еще хуже. Нервы Мартынова, ощетинившись для защиты, затвердели в этой оборонительной позиции и очнулись только тогда, когда Лермонтов лежал на земле под дождем, а сам он вслепую скакал к коменданту. Но не в злоязычии винил он Лермонтова, а в том, что он завлек в свою сильную предрешенную судьбу постороннего человека, чей путь лежал мимо, но его позвали — он подошел, показали бездну — и она его втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная «Александром Македонским» и знаменитая не менее полководца, иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — он вольничал с небом, накликал на себя его раздраженное внимание, сам напоминал провидению о своей скорой гибели, и только когда все определилось и гроза откликнулась ему, он успокоился и стал говорить Глебову о жизни, о двух задуманных романах. В тесных отношениях Лермонтова с роком не оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкрутил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в первую очередь — Мартынова. Недаром все участники события вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких самостоятельных действий.

Он сознавал недостаточность этого мистического объяснения для пристратных судей: если считать, что гибель Лермонтова была предрешена свыше (не уточняя степени высоты), то все-таки почему осуществил ее именно он, а не, например, Лисаневич, принявший свою долю насмешек и

склоняемый к мести? Лисаневич пусть как знает, а сам он знал публичной обиде один ответ и продолжение вызова кутежом в обнимку считал ниже чести. Да велика ли была обида? Ну, горец, ну, с кинжалом, и Наденька Верзилина засмеялась сквозь веер, а Эмилия рассудительно заметила: «Язык мой — враг мой». Не в «горце» и не в Наденьке было дело, а в том, что Лермонтов опять не считался с независимым значением его личности, с его избранной отдельностью, объявленной в романтическом и стилизованном облике. А потом — никогда не мог он предположить, что для огромной смерти человека достаточно столь малого, меньше мгновения, времени, он только пальцем пошевелил — и сразу была одна смерть, без умирания, без единого, еще живого, движения, даже без последнего выдоха, сделанного уже по другую сторону вечности, при перенесении тела с тропы.

И вот Лисаневич давно забыт, а сам он, через тридцать лет после этой мгновенной и окончательной смерти, не может высвободиться из защемившего его тупика: он хотел не убить, а чего-то другого, но какое же другое поручение можно дать посланной в сердце пуле? Ему нужно было объяснить, что разгадка относилась к характеру Лермонтова, который как бы выманивал пулю из ствола еще со времен их юности.

«Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова».

Но он забыл, что прежде писал об этом иначе:

«Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой».

Он стал припоминать Лермонтову его маленькие жестокости, деликатно доказывая, что тот всегда был ловким и опасным раздражителем гнева. Но ему уже скучно становилось. Лоб, истомленный дневной натугой, норовил отвернуться от бумаги к более близким и важным заботам. Хотелось есть — не весело, по-молодому, а оттого, что надо же когда-нибудь есть. Но он еще написал:

«Генерал Шлиппенбах, начальник школы...»

Это были его последние слова о Лермонтове.

## МНОГО СОБАК И СОБАКА

*Посвящено Василию Аксенову*

...Смеркалось на Диоскурийском побережье... — вот что сразу увидел, о чем подумал и что сказал слабоумный и немой Шелапутов, ослепший от сильного холодного солнца, айсбергом вплывшего в южные сады. Он вышел из долгих потемок чужой комнаты, снятой им на неопределенное время, в мимолетную вечную ослепительность и так стоял на пороге между тем и этим, затаившись в убежище собственной темноты, владел мгновением, длил миг по своему усмотрению: не смотрел и не мигал беспорядочно, а смотрел не мигая в близкую преграду сомкнутых век, далеко протянув разъятые ладони. Ему впервые удалась общая бестрепетная недвижимость закрытых глаз и простертых рук. Уж не исцелился ли он в Диоскурийском блаженстве? Он внимательно ранил тупые подушечки (или как их?..) всех пальцев, в детстве не прозревшие к черно-белому Гедике, огромным ледяным белым светом, марая его невидимые острия очевидными капельками крови, пронизательной ощупью узнавая каждую из семи разноцветных струн: толстая фиолетовая басом бубнила под большим пальцем, не причиняя боли. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Отнюдь нет — не каждый. Шелапутов выпустил спектр из взволнованной пятерни, открыл глаза и увидел то, что предвидел. Было люто светло и холодно. Безмерное солнце, не умещааясь в бесконечном небе и бес-

крайнем море, для большей выгоды блеска не гнушалось никакой отражающей поверхностью, даже бледной кожей Шелапутова, не замедлившей ощетиниться убогими воинственными мурашками, единственно защищающими человека от всемирных бедствий.

Смеркалось на Диоскурийском побережье — не к серым насморочным сумеркам меркнувшего дня — к суровому мраку, к смерти цветов и плодов, к сиротству сирых — к зиме. Во всех прибрежных садах одновременно повернулись черные головы садоводов, обративших лица в сторону гор: там в эту ночь выпал снег.

Комната, одолженная Шелапутовым у расточительной судьбы, одинокая в задней части дома, имела независимый вход: гористую ржаво-каменную лестницу, с вершины которой он сейчас озирает изменившуюся окрестность. С развязным преувеличением постоялец мог считать своими отдельную часть сада, заляпанного приторными дребезгами хурмы, калитку, ведущую в море, ну и море, чья вчерашняя рассеянная бесплотная лазурь к утру затвердела в непреклонную мускулистую материю. Шелапутову надо было спускаться: в предгорьях лестницы, уловив возлюбленное веяние, мощную лакомую волну воздуха, посланную человеком, закулила, затыкала, заблеяла Ингурка.

Но кто Шелапутов? Кто Ингурка?

Шелапутов — неизвестно кто. Да и Шелапутов ли он? Где он теперь и был ли на самом деле?

Ингурка же была, а может быть, и есть лукавая подобо-страстная собака, в детстве объявленная немецкой овчаркой и приобретенная год назад за бутылку (из-под виски) бешеной сливовой жижи. Щенка нарекли Ингуром и посадили на цепь, дабы взлелеять свирепость, спасительную для сокровищ дома и плодоносящего сада. Ингур скромно рос, женственно вилял голодными бедрами, угодливо припадал на передние лапы и постепенно утвердился в нынешнем имени, поле и облике: нечеткая помесь пригожей козы и неказистого волка. Цепь же вопросительно лежала на земле, вцепившись в отсутствие пленника. На исходе этой осени к Ингурке впервые пришла темная сильная пора, щекотно зудящая в подхвостье, но и возвышающая душу для неведомого порыва и помысла. В связи с этим за оградой сада, не защищенной сторожевым псом и опутанной колючей проволокой, теснилась разномастная разноликая толпа кобелей: нищие горемыки, не все дотянувшие до чина

дворняги за неимением двора, но все с искаженными чертами славных собачьих пород, опустившиеся призраки предков, некогда населявших Диоскурию. Один был меньше других потрепан жизнью: ярко-оранжевый заливистый юнец, безукоризненный Шарик, круглый от шерсти, как спиц, но цвета закатной меди.

Несмотря на сложные личные обстоятельства, Ингурка, по своему обыкновению, упала в незамедлительный обморок любви к человеку, иногда — деловой и фальшивый. Шелапутов, несомненно, был искренне любим, с одним изъяном в комфорте нежного чувства: он не умещался в изворотливом воображении, воспитанном цепью, голодом, окриками и оплеухами. Он склонился над распростертым изнывающим животом, усмехаясь неизбежной связью между почесыванием собачьей подмышки и подергиванием задней ноги. Эту скромную закономерность и все Ингуркины превращения с легкостью понимал Шелапутов, сам претерпевший подобные перемены, впавший в обратность тому, чего от него ждали и хотели люди и чем он даже был еще недавно. Но, поврежденным умом, ныне различавшим лишь заглавные смыслы, он не мог проследить мерцающего пунктира между образом Ингурки, прижившимся в его сознании, и профилем Гёте над водами Рейна. Он бы еще больше запутался, если бы умел вспомнить историю, когда-то занимавшую его, о внучатой племяннице великого немца, учившейся возить нечистоты вблизи северных лесов и болот, вдали от Ваймара, но под пристальным приглядом чистопородной немецкой овчарки. То-то было смеху, когда маленькая старая дама в неуместных и трудно достижимых буклях наострилась прибавлять к обращению «Пфертхен, пфертхен» необходимое понукание, не понятное ей, но заметно ободряющее лошадь. Уже не зная этой зауми, Шелапутов двинулся в обход дома, переступая через слякоть разбившихся о землю плодов. Ингурка опасалась лишней раз выходить из закулисья угодий на парадный просцениум и осталась нюхать траву, не глядя на обожателей, повисших на колючках забора.

Опасался бы и Шелапутов, будь он в здравом уме.

Безбоязненно появившись из-за угла, Шелапутов оценил прелесть открывшейся картины. Миловидная хозяйка пансиона мадам Одетта, сияя при утреннем солнце, трагически озирала розы, смертельно раненные непредвиденным морозом. Маленькая нежная музыка задрезбуждала и про-

слезилась в спящей памяти Шелапутова, теперь пребывавшей с ним в двоюродной близости, сопутствующей ему сторонним облачком, прозрачной вольнолюбивой сферой, ускользающей от прикосновения. Это была тоска по чему-то кровно родимому, по незапамятному пра-отчеству души, откуда ее похитили злые кочевники. Женщина, освещенная солнцем, алое варенье в хрустале на белой скатерти, розы и морозы, обреченные друг другу божественной шуткой и вот теперь совпавшие в роковом свадебном союзе... Где это, когда, с кем это было? Была же и у Шелапутова какая-то родина — роднее речи, ранящей рот, и важности собственной жизни? Но почему так далеко, так давно?

Некоторое время назад приезжий Шелапутов явился к мадам Одетте с рекомендательным письмом, объясняющим, что податель сего, прежде имевший имя, ум, память, слух, дар чудной речи, временно утратил все это и нуждается в отдыхе и покое. О деньгах же не следует беспокоиться, поскольку в них без убытка воплотилось все, прежде крайне необходимое, а теперь даже неизвестное Шелапутову.

Он действительно понес эти потери, включая не перечисленное в их списке обоняние. В тот день и час своей высшей радости и непринужденности он шел сквозь пространный многолюдный зал, принятый им за необитаемую Долину Смерти, если идти не в сторону благодатного океана, а иметь в виду расшибить лоб и тело о неодолимый Большой Каньон. Прямо перед ним, на горизонте, глыбилось возвышение, где за обычным длинным столом двенадцать раз подряд сидел один и тот же человек, не имевший никаких, пусть даже невзрачных, черт лица: просто открытое пустое лицо без штрихов и подробностей. Слаженным дюжинным хором громко вещающего чрева он говорил что-то, что ясно и с отвращением слышал Шелапутов, взятый на предостерегающий прицел его двенадцати указательных пальцев. Он шел все выше и выше, и маленький бледный дирижер, стоящий на яркой заоблачной звезде, головой вниз, к земле и Шелапутову, ободрял его указующей палочкой, диктовал и молил, посылал весть, что нужно снести этот протажный миг и потом уже предаться музыке. Шелапутов вознеся на деревянное подобие парижского уличного писсуара, увидел свет небосвода и одновременно графин и недопитый стакан воды, где кишели и плодились рослые хищные организмы. Маленький дирижер еще тянул к нему руки, когда Шелапутов, вернее, тот человек, кото-



рым был тогда Шелапутов, упал навзничь и потерял все, чем ведал в его затылке крошечный всемогущий пульт. Его несбывшаяся речь, хотя и произвела плохое впечатление, была прощена ему как понятное и добродетельное волнение. Никто, включая самого оратора, никогда не узнал и не узнает, что же он так хотел и так должен был сказать.

И вот теперь, не ощущая и не умея вообразить предсмертного запаха роз, он смотрел на мадам Одетту и радовался, что она содеяна из чего-то голубовато-румяного, хрупкого и пухлого вместе (из фарфора, что ли? — он забыл, как называется), оснащена белокурыми волосами и туманными глазами, склонными расплываться влагой, посвященной жалости или искусству, но не отвлекающей трезвый зрачок от сурового безошибочного счета. Что ж, ведь она была вдова, хоть и опершаяся стыдливо на прочную руку Пыркина, но не принявшая вполне этой ищущей руки и чужой низкородной фамилии. Ее муж, скромный подвижник французской словесности, как ни скрывал этого извращенного пристрастия, вынужден был отступать под всевидящим неодобрительным прищуром — в тень, в глушь, в глубь злоключений. Когда он остановился, за его спиной было море, между грудью и спиной — гниlostное подыхание легких, а перед ним — магнолия в цвету и Пыркин в расцвете сил, лично приезжавший проверять документы, чтобы любоваться страхом мадам Одетты, плачущим туманом ее расплывчатых глаз и меткими твердыми зрачками. Деваться было некуда, и он пятился в море, впадающее в мироздание, холодея и сгорая во славу Франции, о чем не узнал ни один соотечественник Орлеанской девы (инкогнито Шелапутова родом из других мест). Он умер в бедности, в хижине на пустыре, превращенных умом и трудом вдовы в благоденствие, дом и сад. «Это всё — его», — говорила мадам Одетта, слабым коротким жестом соединяя портрет эссеиста и его посмертные владения, влажняя глазами и сосредоточив зрачки на сохранности растения фейхоа, притягательного для прохожих сластен. При этом Пыркин посылал князящий каблук в мениск ближайшего древесного ствола, или в безгрешный пах олеандрового куста, или в Ингурку, забывшую обычную предусмотрительность ради неясной мечты и тревоги. Но как женщине обойтись без Пыркина? Это всегда трудно и вовсе невозможно при условии неблагоприятного прошлого, живучей красоты и общей системы хозяйства, не предусматривающей процветание

частного пансиона с табльдотом. Да и в безукоризненном Пыркине, честно и даже с некоторой роскошью рвения исполнявшем свой долг вплоть до отставки и пенсии, были трогательные изъяны и слабости. Например: смелый и равнодушный к неизбежному небытию всех каких-то остальных, перенасытившему землю и воздух, он боялся умереть во сне и, если неосторожно слабел и засыпал, кричал так, что даже невменяемый Шелапутов слышал и усмеялся. Кроме того, он по-детски играл с непослушанием вещей. Если складной стул, притомившись или распоясавшись, разъезжался в двойной неполный «шпагат», Пыркин, меняясь в лице к худшему, орал: «Встать!» — стул вставал, а Пыркин усаживался читать утреннюю почту. По возрасту и общей ненадобности отстраненный от недовершенных дел, Пыркин иногда забывался и с криком «Молчать!» — рвал онемевшую от изумления неоспоримую газету в клочки, которые, опомнившись, надменно воссоединялись. Но обычно они не пререкались и не дрались, и Пыркин прощался с чтением, опять-таки непозволительно фривольно, но милостиво: «Одобряю. Исполняйте». Затем Пыркин вставал, а отпущенный стул вольно садился на расхлябанные ноги. И была у него тайна, ради которой, помрачнев и замкнувшись, он раз в декаду выезжал в близлежащий городок, где имел суверенную жилплощадь — мадам Одетта потупляла влажную голубизну, но зрачок сухо видел и знал.

Непослушная глухонемая вещь Шелапутов понятия не имел о том, что между ним и Пыркиным свищет целый роман, обоюдная тяга ненависти, подобной только любви неизъяснимостью и полнотой страсти. Весь труд тяжелой взаимной неприязни пал на одного Пыркина, как если бы при пилке дров один пильщик ушел пить пиво, предоставив усердному напарнику мучиться с провисающей, вкривь и вкось идущей пилою. Это небрежное отлынивание от общего дела оскорбляло Пыркина и внушало ему робость, в которой он был неопытен. В присутствии Шелапутова заколдованный Пыркин не лягал Ингурку, не швырял каменей в ее назревающую свадьбу, не хватался за ружье, когда стайка детей снижала крылышки к вождеденному фейхоа.

В ямбическое морозно-розовое утро, завидев Шелапутова, Пыркин, за спиной мадам Одетты, тут же перепосвятил ему ужасные рожи, которые корчил портрету просвещенного страдальца и подлинного хозяина дома.

Но Шелапутов уже шел к главному входу-выходу: за его парадными копиями золотилась девочка Кетеван. Узкая, долгая, протянутая лишь в высоту, не имеющая другого объема, кроме продолговатости, она продлевала себя вставанием на носки, воздеванием рук, удлинняя простор, тесный для бега юной крови, бесконечным жестом, текущим в пространство. Так струилась в поднебесье, переливалась и танцевала, любопытствуя и страшась притяжения между замороженными псами и отстраненно-нервной Ингуркой. Девочка была молчаливей безмолвного Шелапутова: он иногда говорил, и сказал:

— Ну что, дитя? Кто такая, откуда взялась? Легко ли состоять из ряби и зыби, из непрочных бликов, летящих прочь, в родную вечность неба и моря и снега на вершинах гор?

Он погладил сплетение радуг над ее египетскими волосами. Она отвечала ему вспышками глаз и робкого смеющегося рта, соловьиными пульсами запястий, висков и лодыжек, и уже переместилась и сияла в отдаленье, ничуть не темней остального воздуха, его сверкающей дрожи.

Сзади донесся многократный стук плодов о траву, это Пыркин заехал инжировому дереву: он ненавидел инородцев и лучшую пору жизни потратил на выдворение смуглых племен из их родных мест в свои родные места.

Шелапутов пошел вдоль сквозняка между морем и далекими горами, глядя на осеннее благоденствие угодий. Мир вам, добрые люди, хватит скитаний, хватит цинги, чернящей рот. Пусторукий и сирый Шелапутов, предавшийся проголоди и беспечности мыслей, рад довольству, населившему богатые двухэтажные дома. Здравствуй, Варлам, плящущий в деревянной выдолбине по колено в крови на время убитого винограда, который скоро воскреснет вином. Здравствуй, Полина, с мокрым слитком овечьего сыра в хватких руках. Соседи еще помнят, как Варлам вернулся из долгой отлучки с чужеродной узкоглазой Полиной, исцелившей его от смерти в дальних краях, был отвергнут родней и один неистово гулял на своей свадьбе. Полина же заговорила на языке мужа — о том о сем, о хозяйстве как о любви, научилась делать лучший в округе сыр и оказалась плодородной, как эта земля, без утайки отвечающая труду избытком урожая. Смиренные родные приходили по праздникам или попросить займы денег, недостающих для покупки автомобиля, — Полина не отка-

зывала им, глядя поверх денег и жалких людей мстительным припеком узкоглазья. Дети учились по разным городам, и только первенец Гиго всегда был при матери. Здравствуй и ты, Гиго, втуне едящий хлеб и пьющий вино, Полине ничего не жаль для твоей красоты, перекатывающей волны мощи под загорелой цитрусовой кожей. А что ты не умеешь читать — это к лучшему, все книги причиняют печаль. Да и сколько раз белотелые северянки прерывали чтение и покидали пляж, следуя за тобой в непроглядную окраину сада.

На почте, по чьей-то ошибке, из которой он никак не мог выпутаться, упирающемуся Шелапутову вручили корреспонденцию на имя какой-то Хамодуровой и заставили расписаться в получении. Он написал: «Шелапутов. Впрочем, если вам так угодно, — Хамов и Дуров». Терзаемый тревогой и плохими предчувствиями, утяжелившими сердцебиение, вдруг показавшееся неблагополучным и ведущим к неминуемой гибели, он не совладал с мыслью о подземном переходе, вброд пересек мелкую пыльную площадь и вошел в заведение «Апавильон».

Стоя в очереди, Шелапутов отдыхал, словно, раскинув руки, спал и плыл по сильной воде, знающей путь и цель. Числившийся членом нескольких союзов и обществ и почетным членом туманной международной лиги, он на самом деле был только членом очереди, это было его место среди людей, краткие каникулы равенства между семестрами одиночества. Чем темней и сварливей было медленное течение, закипающее на порогах, тем явственней он ощущал нечто, схожее с любовью, с желанием жертвы, конечно, никчемной и бесполезной.

Он приобрел стакан вина, уселся в углу и стал, страдая, читать. Сначала — телеграмму: «вы срочно вы зываетесь объявления вы говора занесением личное дело стихотворение природе итог увяданья подводит октябрь». Эта заведомая бессмыслица, явно нацеленная в другую мишень, своим глупым промахом приласкала и утешила непричастного уцелевшего Шелапутова. Если бы и дальше все шло так хорошо! Но начало вскрытого письма: «Дорогая дочь, я призываю тебя, более того, я требую...» — хоть и не могло иметь к нему никакого отношения, страшно испугало его и расстроило. Его затылок набряк болью, как переспелая хурма, готовая сорваться с ветки, и он стиснул его ладонями, спасая от забвения и падения. Так он сидел, укачивая

свою голову, уговаривая ее, что это просто продолжение нелепой и неопасной путаницы, преследующей его, что он ни при чем и все обойдется. Он хотел было отпить вина, но остерегся возможного воспоминания о нежном обезболивании, затмевающим и целующем мозг в обмен на струйку души, отлет чего-то, чем прежде единственно дорожил Шелапутов. Оставался еще пакет с — прежде — запиской, звавшей его скорее окрепнуть и вернуться в обширное покинутое братство... уж не те ли ему писали, с кем он только что стоял в очереди, дальше которой он не помнил и не искал себе родни?.. ибо есть основания надеяться на их общее выступление на стадионе. «Как — на стадионе? Что это? С кем они все меня путают?» — неповоротливо подумал Шелапутов и увидел каменное окружье, охлестнувшее арену, белое лицо толпы и опустившего голову быка, убитого больше, чем это надо для смерти, опустошаемого несколькими потоками крови. К посланию был приложен бело-черный свитер, допекавший Шелапутова навязчивыми вопросами о прошлом и будущем, на которые ему было бы легче ответить, обладай он хотя бы общедоступным талантом различать запахи. Брезгливо принюхавшись и ничего не узнав, он накинул свитер на спину и завязал рукава под горлом, причем от очереди отделился низкорослый задыхающийся человек и с криком: «Развяжи! Не могу! Душно!» — опустошил забытый Шелапутовым стакан.

Шелапутов поспешил развязать рукава и пошел прочь.

Вещь, утепляющая спину, продолжала свои намеки и недомолвки, и близорукая память Шелапутова с усилием вглядывалась в далекую предысторию, где неразборчиво брезжили голоса и лица, прояснявшиеся в его плохие ночи, когда ему снился живой горючий страх за кого-то и он просыпался в слезах. Все расплывалось в подслеповатом бинокле, которым Шелапутов пытал былое, где мерещилась ему мучительная для него певичка или акробатка, много собравшая цветов на полях своей неопределенной деятельности. Уж не ее ли был его свитер? Не от нее ли с омерзением бежал Шелапутов, выпроставшись из кожи и юркнув в расщелину новой судьбы? Ужаснувшись этому подозрению, он проверил свои очертания. К счастью, все было в порядке: бесплотный бесполой силуэт путника на фоне небосвода, легкая поступь охотника, не желающего знать, где сидит фазан.

Возвращаясь, Шелапутов встретил слоняющегося Гиго, без скуки изживающего излишек сил и времени. Сохатосро́слый и стройный, он объедал колючие заросли ежевики и вдруг увидел сладость слаще ягод: бело-черный свитер, вяло обнимавший Шелапутова.

— Дай, дай! — закланчил Гиго. — Ты говорил: «Гиго, не бей собак, я тебе дам что-нибудь». Гиго не бьет, он больше не будет. Дай, дай! Гиго наденет, покажет Кетеван.

— Бери, бери, добрый Гиго, — сказал Шелапутов. — Носи на здоровье, не бей собак, не трогай Кетеван.

— У! Кетеван! У! — затрубил Гиго, лаская милую обнову.

Шелапутов сделал маленький крюк, чтобы проведать двор писателя, где его знакомый старый турок плел из прутьев летнюю трапезную, точное подражание фольклорной крестьянской кухне с открытым очагом посредине, с крюком над ним для копчения сыра и мяса. Прежде чем войти, Шелапутов, вздыбив невидимую шерсть, опушившую позвоночник, долго вглядывался в отсутствие хозяина дома. Прослышав о таинственном Шелапутове, любознательный писатель недавно приглашал его на званый ужин, и перепуганный несостоявшийся гость нисколько не солгал, передав через мадам Одетту, что болезнь его, к сожалению, усугубилась.

— Здравствуй, Асхат, — сказал Шелапутов. — Позволь войти и посидеть немного?

Старик приветливо махнул рукой, покореженной северным ревматизмом, но не утратившей ловкости и красоты движений. Ничего не помнил, все знал Шелапутов: час на сборы, рыдания женщин и детей, уплотнившие воздух, молитвы стариков, разграбленная серебряная утварь, сожранная скотина, смерть близких, долгая жизнь, совершенство опыта, но откуда в лице этот покой, этот свет? Именно люди, чьи бедствия тоже пестовали увеличивающийся недуг Шелапутова, теперь были для него отрадны, успокоительны и целебны. Асхат плел, Шелапутов смотрел.

Подойдя к своей калитке, он застал пленительную недостижимую Ингурку вплотную приблизившейся к забору: она отчужденно скосила на него глаза и условно пошевелила хвостом, имеющим новое, не относящееся к людям выражение. Собаки в изнеможении лежали на земле, тяжело дыша длинными языками, и только рыжий голосистый малыш пламенел и звенел.

И тогда Шелапутов увидел Собаку. Это был большой старый пес цвета львов и пустынь, с обрубленными ушами

и хвостом, в клеймах и шрамах, не скрытых короткой шерстью, с обрывком цепи на сильной шее.

— Се лев, а не собака, — прошептал Шелапутов и, с воспламенившимся и уже тоскующим сердцем, напрямик шагнул к своему льву, к своей Собаке, протянул руку и сразу совпали выпуклость лба и впадина ладони.

Пес строго и спокойно смотрел желтыми глазами, нахмутив для мысли темные надбровья. Шелапутов осторожно погладил зазубрины обкромсанных ушей — тупым ножом привечали тебя на белом свете, но ничего, брат мой, ничего. Он попытался разъединить ошейник и цепь, но это была сталь, навсегда прикованная к стали, — ан ничего, посмотрим.

Шелапутов отворил калитку, с раздражением одернув оранжевого крикуна, ринувшегося ему под ноги: «Да погоди ты, ну-ка — пошел». Освобожденная Ингурка понеслась вдоль моря, окруженная усталыми преследователями. Сзади медленно шел большой старый пес.

Так цвел и угасал день.

Пристанище Шелапутова, расположенное на отшибе от благоустройства дома, не отапливалось, не имело электрического света и стекла в зарешеченном окне. Этой комнатой гнушались прихотливые квартиранты, но ее любил Шелапутов. Он приготовился было уподобиться озябшим розам, как вдруг, в чепчике и шали, кокетливо появилась мадам Одетта и преподнесла ему бутылки с горячей водой для согревания постели. Он отнес эту любезность к мягкосердечию ее покойного мужа, сведущего в холоде грустных ночей: его робкая тень и прежде заметно благоволила к Шелапутову.

Красное солнце волнующе быстро уходило за мыс, и Шелапутов следил за его исчезновением с грустью, превышающей обыденные обстоятельства заката, словно репетируя последний миг существования. Совсем рядом трудилось и шумело море. Каждую ночь Шелапутов вникал в значение этого мерного многозвучного шума. Что знал, с чем обращался к его недалекости терпеливый гений стихии, монотонно вбивавший в камень суши одну и ту же непостижимую мысль?

Шелапутов возжег свечу и стал смотреть на белый лист бумаги, в котором не обитало и не проступало ничего, кроме голенастого шестиногого паучка, резвой дактилической походкой снующего вдоль воображаемых строк. Уцелевшие в

холоде ночные насекомые с треском окунали в пламя слепые крылья. Зачем все это? — с тоской подумал Шелапутов. И чего хочет эта ненасытная белизна, почему так легко принимает жертву в муках умирающих, мясистых и сумрачных мотыльков? И кто волен приносить эту жертву? Неужто вымышленные буквы, приблизительно обозначающие страдание, существеннее и драгоценней, чем бег паучка и все мелкие жизни, сгорающие в чужом необязательном огне? Шелапутов, и всегда тяготившийся видом белой бумаги, с облегчением задул свечу и сразу же различил в разгулявшемся шелесте ночи одушевленно-железный крадущийся звук. Шелапутов открыл дверь и сказал в темноту: «Иди сюда». Осторожно ступая, тысячелетним опытом беглого каторжника умеряя звон цепи, по лестнице поднялась его Собака.

Шелапутов в темноте расковырял банку тушенки — из припасов, которыми он тщетно пытался утолить весь голод Ингурки, накопленный ею к тому времени. И тут же в неприкрытую дверь вкатился Рыжий, повизгивая сначала от обиды, а потом — как бы всхлипывая и прощая. «Да молчи ты, по крайней мере», — сказал Шелапутов, отделяя ему часть мясного и хлебного месива.

Наконец улеглись: Собака возле постели, Шелапутов — в теплые, трудно сочетаемые с телом бутылки, куда вслед за ним взлетел Рыжий и начал капризно устраиваться, вспльчиво прощелкивая зубами пушистое брюхо. «Да не толкайся ты, несносное существо, — безвольно укорил его Шелапутов. — Откуда ты взялся на мою голову?» Он сильно разволновался от возни, от своего самовольного гостеприимства, от пугающей остановки беспечного гамака, в котором он дремал и качался последнее время. Он опустил руку и сразу встретил обращенную к нему большую голову Собаки.

Странно, что все это было на самом деле. Не Хамодурова, не Шелапутов, или как там их зовут по прихоти человека, который в ту осень предписанного ликования, в ночь своей крайней печали лежал на кровати, теснимый бутылками, Рыжим и толчеей внутри себя, достаточной для нескольких жизней и смертей, не это, конечно, а было: комната, буря сада и закипающего моря, Собака и человек, желавший все забыть и вот теперь положивший руку на голову Собаки и плачущий от любви, чрезмерной и непосильной для него в ту пору его жизни, а может быть, и в эту.



Было или не было, но из главной части дома, сквозь пронизаемую каменную стену донеслось многоточие с восклицательным знаком в конце: это мадам Одетта ритуально пролепетала босыми ногами из спальни в столовую и повернула портрет лицом к обоям. Рыжий встрепенулся спросонок и залился пронзительным лаем. Похолодевший Шеллапутов ловил и пробовал сомкнуть его мягко обороняющиеся челюсти. После паузы недоумения в застенной дали стукнуло и грохнуло: портрет повернулся лицом к непроглядной яви, а Пыркин мощно брыкнул изножие кровати. Уже не впопыхах, удобно запрокинув морду, Рыжий предался долгой вдохновенной трели. Шеллапутов больше не боролся с ним. «Сделай что-нибудь, чтоб он наконец заткнулся», — безнадежно сказал он Собаке, как и он, понимавшей, что он говорит вздор. Рыжий твякнул еще несколько раз, чтобы потратить возбуждение, отвлекающее от сна, звонко зевнул, и все затихло.

За окном медленно, с неохотой светало. Из нажитого за ночь тепла Шеллапутов смотрел сквозь решетку на серый зябкий свет, словно в темницу, где по обязанности приходил в себя бледный исполнительный узник. Пес встал и, сдержанно звякая цепью, спустился в сад. Рыжий спал, иногда поскуливая и часто перебирая лапами. Уже было видно, какой он яркий франт, какой неженка — по собственной одаренности, по причуде крови, заблудшей в том месте судьбы, где собак нежить некому. Успел ли он поразить Ингурку красотой оперения, усиленной восходом, — Шеллапутов не знал, потому что проснулся поздно. Сад уже оттаял и сверкал, а Шеллапутов все робел появиться на хозяйской половине. Это живое чувство опять соотносило его с забытой действительностью, с ее привычным и когда-то любимым уютом.

Вопреки его опасениям, мадам Одетта, хоть и посмотрела на него очень внимательно, была легка и мила и предложила ему кофе. Шеллапутов, подчеркнуто чуравшийся застольного и всякого единения, на этот раз заискивающе согласился. Пыркин фальшивой опрометью побежал на кухню, вычурно кривляясь и приговаривая: «Кофейник, кофейник, ау! Скорее иди сюда!» — но тут же умолк и насупился: сегодня был его день ехать в город.

Мадам Одетта, построив подбородку грациозную подпорку из локотка и кулачка, благосклонно смотрела, как Шеллапутов, отвыкший от миниатюрного предмета чашки.

неловко пьет кофе. Ее губы округлялись, вытягивались, складывались в поцелуйное рыльце для надобности гласных и согласных звуков — их общая сумма составила фразу, дикий смысл которой вдруг ясно дошел до сведения Шелапутова:

— Помните, у Пруста э т о называлось: совершить катлею?

Он не только понял и вспомнил, но и совершенно увидел ночной Париж, фиакр, впускающий свет и тьму фонарей, борьбу, бормотание, первое объятие Свана и его Одетты, его жалкую победу над ее податливостью, столь распростертой и недостижимой, возглавленной маленьким спертым умом, куда не было доступа страдающему Свану. При этом действительно была повреждена приколота к платью орхидея, чьим именем стали они называть безымянную безысходность между ними.

Шелапутов прекрасно приживался в вымышленных обстоятельствах и в этом смысле был пронырливо практичен. Малым ребенком, страдая от войны и непрерывной зимы, он повадился гулять в овальном пейзаже, врисованном в старую синюю сахарницу. По изогнутому мостику блеклого красного кирпича, лаская ладонью его нежный мох, он проходил над глухим водоемом, вступал в заросли купалы на том берегу и навсегда причислил прелесть желто-зеленых цветов в молодой зелени луга к любимым радостям детства и дальнейшей жизни. Он возвращался туда и позже, смелея от возраста и удлиняя прогулки. Из черемухового оврага по крутой тропинке поднимался на обрыв парка, увенчанный подгнившей беседкой, видел в просвете аллеи большой, бесформенно-стройный дом, где то и дело кто-то принимался играть на рояле, бросал и смеялся. Целомудренный зонтик прогуливался над стриженным кустарником. Какой-то господин, забывшись, сидел на скамье, соединив нарядную бороду и пальцы, оплетшие набалдашник трости, недвижно глядя в невидимый объектив светлыми, чуть хмельными глазами. Шелапутов хорошо знал этих добрых беспечных людей, расточительных, невпопад влюбленных, томимых благородными помыслами и неясными предчувствиями. Он, крадучись, уходил, чтобы не разбудить их и скрыть от них, что ничего этого нет, что обожаемый кружевной ребенок, погоняющий обруч, давно превратился в прах и тлёт.

Годы спустя, незадолго до постыдного публичного обморока, затаившись в руинах чьей-то дачи, он приспособился

жить в чужеземстве настенного гобелена. Это было вовсе беспечальное место: с крепостью домика, увитого вечным плющом, с мельницей над сладким ручьем, с толстыми животными, опекаемыми пастушкой, похожей на мадам Одетту, но, разумеется, не сведущей в Прусте. Там бы ему и оставаться, но он затосковал, разбранился с пастушкой, раздражавшей его шепелящими ласкательными суффиксами, и бежал.

Вот и сейчас он легко променял цветущую Диоскурию на серую дымку Парижа, в которой и обитал палевый, голубой и лиловый фазан.

Две одновременные муки окликнули Шелапутова и вернули его в надлежащую географию. Первая была — маленькая месть задетой осы, трудящейся над красным вздутием его кисти. Вторая боль, бывшая больше его тела, коряво разрасталась и корчилась вовне, он был ею и натыкался на нее, может быть, потому, что шел вслепую напрямик, мимо дорожки к воротам и ворот, оставляя на оградительных шипах ключья одежды и кожи.

Бессмысленно тараша обрубки антенн, соотносящих живое существо с влияниями и зовами всего, что вокруг, он опять втеснился в душную темноту, достаточную лишь для малой части человека, для костяка, кое-как одетого художником. Какие розы? Ах, да. Читатель ждет уж... Могила на холме и маленький белый монастырь с угловой темницей для наказанного монаха: камень, вплотную облегающий стоящего грешника: его глаза, уши, ноздри и губы, — благо ему, если он стоял вольготно, видел, слышал и вдыхал свет.

Потайным глубинным пеклом, загодя озирающим длительность предшествующего небытия, всегда остающимся про запас, чтобы успеть взглядеться в последующую запредельность и погаснуть, Шелапутов узнал и впитал ту, что стояла перед ним. Это и была его единственная родимая собственность: его жизнь и смерть. Ее седины развевались по безветрию, движимые круговертью под ними, сквозь огромные глаза виден был ад кипящей безвыходной мысли. Они ринулись друг к другу, чтобы спасти и спастись, и, конечно, об этом было слово, которое дымилось и пенилось на ее губах, которое здраво и грамотно видел и никак не мог понять Шелапутов.

Как мало оставалось мученья: лишь разгадать и исполнить ее заклинаящий крик и приникнуть к, проникнуть в, вновь обрести блаженный изначальный уют, охраняемый

ее урчащей когтистой любовью. Но что она говорит? Неужели предлагает мне партию на бильярде? Или все еще хуже, чем я знаю, и речь идет о гольфе, бридже, триктраке? Или она нашла мне хорошую партию? Но я же не могу всего этого, что нам делать, как искуплю я твою нестерпимую муку? Ведь я — лишь внешность раны, исходящей твоею бедною кровью. О, мама, неужели я умираю!

Они хватали и разбрасывали непреодолимый воздух между ними, а его все больше становилось. Какой маркшейдер ошибся, чтобы они так разминулись в прозрачной толще? Вот она уходит все дальше и дальше, протянув к нему руки, в латах и в мантии, в терновом венце и в погонах.

Шелапутов очнулся оттого, что опять заметил свою руку, раненую осою: кисть болела и чесалась, ладонь обни-мала темя Собаки.

Опираясь о голову Собаки, Шелапутов увидел великое множество моря с накипью серебра, сад, обманутый ослепительной видимостью зноя и опять желавший цвести и красоваться. На берегу ослабевшая Ингурка, вяло огрызаясь, уклонялась от неизбежной судьбы. Уже без гордости и жеманства страшивала она то одни, то другие объятя. Рыжий всех разгонял мелким начальственным лаем. И другая стайка играла неподалеку: девочка Кетеван смеялась и убегала от Гиго.

Под рукой Шелапутова поднялся загривок Собаки, и у Шелапутова обострились лопатки. Он обернулся и увидел Пыркина, собравшегося в город. Он совсем не знал этого никакого человека и был поражен силою его взгляда, чья траектория отчетливо чернела на свету, пронзала затылок Шелапутова, взрывалась там, где обрывок цепи, и успевала контузить окрестность. Он сладострастно посылал взгляд и не мог прервать этого занятия, но и Шелапутов сильно смотрел на Пыркина.

Следуя к автобусной станции, Пыркин схватил камень гор вместе с домами и огородами и запустил ими в иноплемennую нечисть собак и детей, во всю дикоязычную прустовую сволочь, норвящую бежать с каторги и пожирать фейхоа.

— Вот что, брат, — сказал Шелапутов. — Иди туда, не уступай Рыжему прощальной улыбке нашего печального заката. А я поеду в город и спрошу у тех, кто понимает: что делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой.

Пес понуро пошел. Шелапутов не стал смотреть, как он стоит, опустив голову, пока Рыжий, насканивая и отступая, поверхностно кусает воздух вокруг львиных лап, а Ингурка, в поддержку ему, морщит нос и дрожит верхней губой, открывая неприязненные мелкие острия, при одобрении всех второстепенных участников.

Не стал он смотреть и на то, как Гиго ловит смеющуюся Кетеван. Разве можно поймать свет, золотой столбик неопределенной пыли? — а вот поймал же и для шутки держит над прибором, а прибор для шутки делает вид, что возьмет себе. Но она еще отбивается, еще утекает сквозь пальцы и свободно светится вдалеке — ровня лучу, неотличимая от остального солнца.

Престарелый автобус с брезентовым верхом так взбалтывал на ухабах содержимое, перемешивая разновидности, национальности, сорта и породы, что к концу пути все в нем стало равно потно, помято и едино, — кроме Пыркина и Шелапутова. Вот какой город, какой Афинно-белый и колоннадный, с короной сооружения на главе горы; ну, не Парфенон, я ведь ни на что и не претендую, а ресторан, где кончились купаты, но какой любимый Шелапутовым город — вот он ждет, богатый чужеземец, владелец выпренных излишеств пальм, рододендронов и эвкалиптов, гипса вблизи и базальта вдали. Лазурный, жгучий, волосатый город, вождедеющий царственной недоступной сестры: как бы смял он ее флёрдоранж, у, Ницца, у!

Шелапутов, направляясь в контору Кука, как и всегда идучи, до отказа завел руки за спину, крепко ухватившись левой рукой за правую. Зачарованный Пыркин некоторое время шел за ним, доверчиво склонив набок голову для обдумывания этой особенности его походки, и даже говорил ему что-то поощрительное, но Шелапутов опять забыл замечать его.

Сподвижники отсутствующего Кука, до которых он доплыл, на этот раз без удовольствия, по извилинам очереди, брезгливо объяснили ему, что нужно делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой. Все это не умещалось во времени, отведенном Шелапутову, а намордник, реставрация оборванной цепи и отдельная клетка для путешествия и вовсе никуда не умещались.

Устав и померкнув, Шелапутов пошел вдоль набережной, тяготясь неподъемной величиной неба, гор и спящей жизни. Море белесо отсутствовало, и прямо за парашетом

начиналось ничто. Урожденный близнец человеческой толчеи, слоняющейся, торгующей, настигающей женщин или другую добычу, он опять был совсем один и опирался лишь на сцепленные за спиною руки.

Усевшись в приморской кофейне, Шеллапутов стал смотреть, как грек Алеко, изящный, поджарый, черно-седой, ведает жаровней с раскаленным песком. Никакой болтливости движений, краткий полет крепкого локтя, скошенный блеск емкого глаза, предугадывающий всякую новую нужду в черном вареве, усмехающийся кофейным гадателям: ему-то не о чем спрашивать перевернутую чашку, он прозорливей всеведущей гущи.

Ничего не помнил, все знал Шеллапутов: тот же мгновенный — пошевеливайся, чучмек! — час на сборы, могилы — там, Алеко — здесь.

Почуяв Шеллапутова, Алеко любовно полыхнул ему глазом: обожди, я иду, не печалься и здравствуй во веки веков. Есть взор между человеком и человеком, для которого и следует жить в этом несказанном мире, с блистающим морем и хрупкой гигантской магнолией, держащей на весу фарфоровую чашу со светом. Совладав с очередной партией меди в песке, Алеко подошел, легкой ладонью приветил плечо Шеллапутова. Про Собаку сказал:

— Иди по этому адресу, договорись с проводником. Он приедет завтра вечером, послезавтра уедет и вместе с ним ты со своею Собакой.

Потом погасил глаза и спросил:

— Видел Кетеван?

— Езжай туда, Алеко, — внятно глядя на него, ответил Шеллапутов. — Не медли, езжай сегодня.

Алеко посмотрел на простор дня, на Грецию вдали, коротко сыграл пальцами по столу конец какой-то музыки и сказал с вольной усмешкой:

— Я старый бедный грек из кофейни. А она — ты сам знаешь. Пойду-ка я на свое место. Прощай, брат.

Но как ты красив, Алеко, всё в тебе. Ты все видел на белом свете, кроме высшей его белизны — возлюбленной родины твоей древней и доблестной крови. С тобою Самофракийская Ника! Смежим веки и станем думать, что море и море похожи, как капля и капля воды. И что так стройно белеет на вершине горы? Не храм же в честь начала и конца купат, а мысль без просчета, красота без изъяна: Парфенон.

Шелапутов обнял разрушенную колонну, вслушиваясь лбом в шершавый мрамор. Внизу подтянуто раскинулся Акрополь, ниже и дальше с достоинством суетился порт Пирей, совсем далеко, за маревом морей, в кофейню вошли двенадцать человек, не отличимых один от другого. Кто такие? Должно быть, негоцианты, преуспевшие в торговле мускусом, имбирем и рабами, допировывающие очередную сделку. Но где уже видел их Шелапутов? Влюбленная прислуга сдвигала столы, тащила бутылки и снедь. Виктория — их, несомненно, но разве мало у них драхм, чтобы подкупить руку, смазавшую черты их лиц, воздвигшую большой жир животов, опасный для их счастливой жизни? Бр-р, однако, как они выглядят.

— Пошевеливайся, грек! — Но он уже идет с чашкой и медным сосудом, безупречно статный, как измышление Лисиппа, весело глядя на них всезнающими глазами.

— На, грек, выпей!

С любезным поклоном берет он стакан, пристально разглядывает влагу, где что-то кишит и плодится, смеется дерзкими свежими зубами и говорит беспечно:

— Грязно ваше вино.

Больше он ничего не говорит, но они, беснуясь, слышат:

— Грязно ваше вино, блатные ублюдки. Проклятье тому, кто отпил его добровольно, горе тому, чью шею пригнули к нему. Этот — грек, тот — еще кто-нибудь, а вы — никто ниоткуда, много у вас владений, но родины — нет, потому что все ваше — чужое, отнятое у других.

Так он молчит, ставит стакан на стол и уходит на свое место: путем великих Панафиней, через Пропилеи, мимо Эрехтейона — к Парфенону.

Прощай.

Какое-то указание или приглашение было Шелапутову, о котором он забыл, но которому следовал. Бодрым и деловым шагом, задушевно и мимолетно поглаживая живую шерсть встречных пальм, шел он вдоль темнеющих улиц к подмигивающему маяку неведомой дали. Вот юный дом с обветшалой штукатуркой, надобный этаж, дверь, бескорыстный звонок с проводами, не впадающими в электричество. Он постучал, подождал и вошел.

Мрак комнаты был битком набит запахом, затрудняющим дыхание и продвижение вперед, — иначе как бы пронюхал Шелапутов густоту благовонного смрада?

Повсюду, в горшках и ящиках, подрагивали и извивались балетно-неземные развратно-прекрасные цветы.

Лицом к их раструбам, спиной к Шелапутову стоял и сотрясаясь Пыркин, в упоении хлопотавший о близкой удаче.

Вот пала рука и раздался вопль победы и муки.

Отдохнув, охладев к докучливой искушающей флоре, Пыркин отвернулся от загадочно глядящих неутолимых растений, увидел Шелапутова и прикрикнул на него с достоинством:

— Я на пенсии! Я развожу орхидеи!

— Ну-ну, — молча пожал плечами Шелапутов, — это мило.

Они двинулись к автобусу и потом к дому: впереди Шелапутов, сомкнувший за спиной руки, сзади — Пыркин, приглядывающий за его затылком.

Поднявшись к себе, Шелапутов не закрыл дверь и стал ждать.

Вот — осторожно зазвенело в саду и вверх по лестнице. Шелапутов обнял голову Собаки, припал к ней лицом и отстранился: — Ешь.

В эту ночь Рыжий появился ненадолго: перекусил, наспех лизнул Шелапутова, пискливо рявкнул на Собаку, в беспамятстве полежал на боку и умчался.

Важная нежная звезда настойчиво обращалась к Шелапутову — но с чем? Всю жизнь разгадывает человек значение этой кристальной связи, и лишь в мгновенье, следующее за последним мгновеньем, осеняет его ослепительный ответ, то совершенное знание, которым никому не дано поделиться с другим.

Шелапутов проснулся, потому что пес встал, по-военному насупив шерсть и мышцы, клопоча глубиною горла.

— Ты не ходи, — сказал Шелапутов и толкнул дверь.

Что-то ссыпалось с лестницы, затрещало в кустах и затаилось. Шелапутов без страха и интереса смотрел в темноту. Пес все же вышел и стал рядом. Выстрел, выстрел и выстрел набум полыхнули по звезде небес. Эхо, эхо и эхо, оттолкнувшись от гор, лоб в лоб столкнулись с криком промахнувшегося неудачника:

— Все французы — жиды! Свершают катлею! Прячут беглых! Воруят фейхоа!

— Не спишь? — сказал Шелапутов. — Ах да, вы боитесь умереть во сне. Опасайтесь: я знаю хорошую колыбельную.

Утром окоченевший Шелапутов ленился встать, да и не было у него дел покуда. В открытую дверь он увидел



скромную кружевную франтоватость — исконную отраду земли, с которой он попытался разминуться: на железных перилах, увитых виноградом, на убитых тельцах уязвленной морозом хурмы лежала северная белизна. Обжигая ею пальчики, по ступеням поднималась мадам Одетта в премилей душегрейке. На пороге ей пришлось остановиться в смущении:

— Ах! Прошу прощения: вы еще не одеты и даже не вставали.

Галантный благовоспитанный Шелапутов как раз был одет во все свои одежды и встал без промедления.

Мадам Одетта задумчиво озирала его голубую влагой, красиво расположенной вокруг бдительных черных зрачков, знающих мысль, которую ей трудно было выразить, — такую:

— Причина, побуждающая меня объясниться с вами, лежит в моем прошлом. (Голубизна увеличилась и пролилась на щеку.) Видите ли, в Пыркине лишенном лоска и лишнего образования, есть своя тонкость. Его странные поездки в город (влага подсохла, а зрачки цепко вчитались в Шелапутова) — это, в сущности, путешествие в мою сторону, преодоление враждебных символов, мешающих его власти надо мной. Он тяжело ревнует меня к покойному мужу — и справедливо. (Голубые ручки.) Но я хочу говорить о другом. (Шепот и торжество черного над голубым.) Будьте осторожны. Он никогда не спит, чтобы не умереть, и все видит. Пыркин — опасный для вас человек.

— Но кто это — Пыркин? — совершенно растерявшись, спросил Шелапутов, и вдруг, страшно волнуясь, стал сбивчиво и словно нетрезво говорить: — Пыркин — это не здесь, это совсем другой. Клянусь вам, вы просто не знаете! Там, возле станции, холм, окаймленный соснами, и чудная церковь с витиеватыми куполами, один совсем золотой, и поле внизу, и дома на его другом берегу. Так вот, если идти к вершине кладбища не снизу, а сбоку, со стороны дороги, непременно увидишь забытую могилу, над которой ничего нет, только палка торчит из-под земли и на ней написано: «ПЫРКИН!» Представляете? Какой неистребимый характер, какая живучесть! Ходить за водкой на станцию, надвигать кепку на шальные глаза, на этом же кладбище, в праздник, сидеть среди цветной яичной скорлупы, ощущать в полегчавшем теле радостную облегченность к драке, горланить песнь, пока не захрипит в горле слеза неоодоли-

мой печали, когда-нибудь нелепо погибнуть и послать наружу этот веселый вертикальный крик: «ПЫРКИН»!

— Врешь! — закричал невидимый однофамилец недавнего Пыркина. — Это тот — другой кто-нибудь, вор, пьяница, бездельник с тремя судимостями! Все спал, небось, налив глаза, — вот и умер, дурак!

Никто уже не стоял в проеме двери, не заслонял замороженный, нестерпимо сверкающий сад, а Шелапутов все смотрел на заветный холм, столь им любимый и для него неизбежный.

Дождавшись часа, когда солнце, сделав все возможное для отогревания этих садов, стало примеряться к беспристрастной заботе о других садах и народах, Шелапутов через калитку вышел на берег и увяз в мокрой гальке. Уже затрещинами и зуботычинами учило море непонятливую землю, но, как ей и подобает, никто по-прежнему ничего не понимал.

Из ничего самшита, вырвавшегося на волю из чьей-то изгороди, лениво вышел Гиго в полосатом свитере, снова не имеющий занятия и намерения. Далеко сзади, закрыв лицо всей длиной руки, преломленной в прелестной кисти, обмокнутой в грядущую мыльную бесконечность, шла и не золотилась девочка Кетеван.

Солнце, перед тем как невозвратно уйти в тучу, ударило в бубен оранжевой шерсти, и Рыжий скрестил передние лапы на волчье-козьею темно-светлой шее. Сооружение из него и Ингурки упрочилось и застыло. Массовка доигрывала роль, сидя кругом и глядя. Вдали оцепеневшего хоровода стоял и смотрел большой старый пес.

— Плюнь, — сказал ему Шелапутов. — Пойдем.

Впереди был торчок скалы на отлогом берегу; еще кто-нибудь оглянулся, когда нельзя, — Шелапутов провел ладонью по худому хребту — львиная шерсть поежилась от ласки и волна морщин прокатилась по шрамам и клеймам.

Сказал: — Жди меня здесь, а завтра — уедем, — и, не оглянувшись, пошел искать проводника.

Адрес был недалкий, но Шелапутов далеко зашел в глубь расторопно стесившейся ночи, упираясь то в тупик чащобы, то в обрыв дороги над хладным форельным ручьем. Небо ничем не выдавало своего предполагаемого присутствия, и Шелапутов, обособленный от мироздания, мыкался внутри каменной безвоздушной темноты, словно в погасшем безвыходном лифте.

Засквозило избавлением, и сразу обнаружилось небо со звездами и безукоризненной луной, чье созревание за долгими тучами упустил из виду Шелапутов, и теперь был поражен ее видом и значением. Прямо перед ним, на освещенном пригорке, стоял блюститель порядка во всеоружии и плакал навзрыд. Переждав первую жалость и уважение к его горю, Шелапутов, стыдясь, все же обратился к нему за указанием — тот, не унимая лунных слез, движением руки объяснил: где.

Женщины, в черном с головы до ног, встретили Шелапутова на крыльце и ввели в дом. Он еще успел полюбоваться скорбным благородством их одеяний, независимых от пестроты нынешнего времени, и лишь потом заметил, как с легким шелковым треском порвалось его сердце, и это было не больно, а мятно-сладко. Старик, главный в доме, и другие мужчины стояли вокруг стола и окропляли вином хлеб. И Шелапутову дали вина и хлеба. Старик сказал:

— Выпей и ты за Алеко, — он пролил немного вина на хлеб, остальное выпил.

Как прохладно в груди, какое острое вино, как прекрасно добавлен к его вкусу вольно-озонный смолистый привкус. Уж не рецина ли это? Нет, это местное черное вино, а рецина золотится на свету и оскоминным золотом вяжет и услаждает рот. Но все равно — здравствуй, Алеко. Мы всегда умираем прежде, чем они, их нож поспекает за нашей спиной, но их смерть будет страшнее, потому что велик их страх перед нею. Какие бедные, в сущности, люди. И не потому ли они так прожорливо дорожат своей нищей жизнью, что у нее безусловно не будет продолжения и никто не заплачет по ним от горя, а не от корысти?

Шелапутов выпил еще, хоть тревожно знал, что ему пора идти: ему померещилось, что трижды пошатнулась и погасла звезда.

— Так приходи завтра, если сможешь, — сказал старик на прощанье. — Я буду ждать тебя с твоею Собакой.

Не потратив несколько времени, одним прыжком спешащего ума, Шелапутов достиг вздыбленного камня. Собаки не было там. Шелапутов не знал, где его Собака, где его лев, где он лежит на боку, предельно потянувшись, далеко разведя голову и окоченевшие лапы. Три пулевых раны и еще одна, уже лишняя и безразличная телу, чернеют при ясной луне. По горлу и по бархатному свободному излишку шеи, надобному большой собаке лишь для того, чтобы с

обожанием потрепала его рука человека, прошелся нож, уже не имевший понятной цели причинить смерть.

— Значит — четыре, — аккуратно сосчитал Шеллапутов. — Вот сколько маленьких усилий задолжал я гиенам, которые давно недоумевают: уж не враг ли я их, если принадлежащая им падаль до сих пор разводит орхидеи?

Зарницей по ту сторону глаз, мгновенным после-тоннельным светом, за которым прежде он охотился жизнь напролет, он вспомнил все, что забыл в укрытии недуга. Оставалось лишь менять картины в волшебном фонаре. Селение называлось: Свистуха, река Яхрома, неподалеку мертвая вода канала возлежала в бетонной усыпальнице. За стеной с гобеленом хворала необщительная хозяйка развалившейся дачи. Однажды она призвала его стуком, и он впервые вошел в ее комнату, весело глядящую в багрец и золото, октябрь, подводивший итог увяданья, солнечный и паутинный в том году. Старая красивая дама пылко смотрела на него, крепко прихватив пальцами кружева на ключицах. Он сразу увидал в ней величественную тень чего-то большего, чем она, оставившую ее облику лишь узкую ущербную скобку желтенького света. Он был не готов к этому, это было так же просто и дико, как склонить к букварю прилежный бант и прочесть слово: смерть.

— Голубчик, — сказала она, — я видела тех, кто строил этот канал. Туда нельзя было ходить, но мы заблудились после пикника и нечаянно приблизились к недозволенному месту. Нас резко завернули, но мы были веселы от вина и от жизни и продолжали шутить и смеяться. И тогда я встретила взгляд человека, которого уже не было на свете, он уже вымостил собою дно канала, но вот стоял и брезгливо и высокомерно смотрел на меня. Столько лет прошло, клещи внутри меня намертво сомкнулись и дожирают мою жизнь. А он все стоит и смотрит. Бедное дитя, вы тогда еще не родились, но я должна была сказать это кому-то. Ведь надо же ему на кого-то смотреть.

Все это несправедливо показалось прежнему Шеллапутову: ведь он уже бежал в спасительные чудотворные рощи, и теперь ему надо было подаваться куда-то из безмятежных надмогильных лесов и отсиживаться в гобелене.

Время спустя Шеллапутов, или та, чей свитер был — его, плыл или плыла по каналу на развлекательном кораблике с музыкой и лампочками. Двенадцать спутников эффектной экскурсантки в обтяжном бархате и перезвоне серебря-

ных цепочек — отвечали неграмотными любезностями на ее предерзкие словечки. Слагая допустимые колкости, она пригубляла вино, настоящее на жирных амебах. И вдруг увидела, как из законной русалочьей сырости бледные лица глядят на нее брезгливо и высокомерно. Но почему не на тех, кого они видели в свой последний час, а на нее, разминувшуюся с ними во времени? Остальная компания с удовлетворением смотрела на уютную дрессированную воду, на холодную лунную ночь, удачно совпавшую с теплом и светом внутри быстрокрылого гулящего судна.

Затем был этот недо-полет через долину зала, врожденный недо-поступок, дамский подвиг упасть без чувств и натужное мужество без них обходиться. Не пелось певунье, не кувыркалось акробатке, и этот трюк воспалил интерес публики, всегда грезящей об умственной собственности. Каждой делательнице тарталеток любо наречь божеством того, кто прирученно ест их с ее ладони, втянув зубы, вытянув губы. Но Шелапутова ей не обвести вокруг пальца!

Он положил руку на пустоту, нечаянно ища большую голову Собаки с ложбиной меж вдумчивых надбровных всхолмий.

Ничто не может быть так холодно, как это.

Спущенный с тетивы в близкую цель, Шелапутов несся вдоль сокрушительного моря и споткнулся бы о помеху, если бы не свитер цвета верстового столба.

Гигу рыдал, катая голову по мокрым камням.

— Мать побила меня! Мать била Гигу и звала его сыном беды, идиотом. Мать кричала: если у Кетеван нет отца, пусть мой отец убьет меня. Отец заступался и плакал. Он сказал: теперь Алеко женится на ней. А она убежала из дома. Мать велела мне жить там, где живут бездомные собаки, и она вместе со всеми будет бросать в меня камни и не бросит хлеба.

Отвечая праздничной легкости Шелапутова, сиял перед ним его курортник, его кромешный Сен-Тропез, возжегший все огни, факелами обыскивающий темноту.

Навстречу ему бежала развещающаяся мадам Одетта. Добежала, потащила к губам его руки, цепляясь за него и крича:

— Спасите! Он заснул! Он умирает во сне!

Отряхнувшись от нее, Шелапутов вошел в дом и не спеша поднялся в спальню. На кровати, под перевернутым портретом, глядящим сквозь стену в шелапутовскую ка-

морку, хрипел и кричал во сне Пыркин. Лицо его быстро увеличивалось и темнело от прибыли некрасивой крови, руки хватались за что-то, что не выдерживало тяжести и вместе с ним летело с обрыва в пучину.

Ружье отдыхало рядом, вновь готовое к услугам.

— Помогите! — рыдала мадам Одетта. — Ради того, которого над нами нет, — разбудите его! Вы же можете это, я не верю, что вы так ужасно жестоки. — Она пала на колени, неприятно белея ими из-под распавшегося халата, и рассыпалась по полу саксонской фасолью, нестройными черепками грузного фарфора.

Маленький во фраке, головою вниз повисший со звезды, поднял хрустальную указку, и Шеллапутов запел свою колыбельную. Это была невинная песенка, в чью снотворную силу твердо верил Шеллапутов. От дремотного речитатива Пыркину заметно полегчало: рыщущие руки нашли искомый покой, истомленная грудь глубоко глотнула последнего воздуха и остановилась — на этом ее житейские обязанности кончались и выдох был уже не ее заботой, а кого-то другого и высшего.

Прилично соответствуя грустным обстоятельствам, Шеллапутов поднял к небу глаза и увидел, что маленький завсегдатай звезды, отшвырнув повелительную палочку, обнял луч и приник к нему плачущим телом.

Шеллапутов накинулся на затихшего Пыркина: тряс его плечи, дул ему в рот, обегал ладонью левое предплечье, где что-то с готовностью проснулось и бодро защелкало. Он рабски вторил подсказке неведомого суфлера и приговаривал:

— Не баю-бай, а бей и убей! Я все перепутал, а вы поверили! Никакого отбоя! Труба зовет нас в бой! Смерть тому, кто заснул на посту!

Новорожденный Пыркин открыл безоружные глаза, не успевшие возыметь цвет и взгляд, и, быстро взрослея, строго спросил:

— Что происходит?

— Ничего нового, — доложил Шеллапутов. — Деление на убийц и убиенных предрешено и непоправимо.

Опытным движением из нескольких слагаемых: низко уронить лоб, успеть подхватить его на лету, вновь подпереть макушкой сто шестьдесят пятый от грязного пола сантиметр пространства с колосниками наверху и укоризненной звездой в зените и спиной наобум без промаха пройти

сквозь занавес — он поклонился, миновал стену и оказался в своей чужой и родной, как могила, комнате. А там уже прогуливался бархат в обтяжку, вправленный в цирковые сапожки со шпорами, переливалось серебро цепочек, глаза наследственно вели в ад, но другого и обратного содержания.

— Привет, кавалерист-девица Хамодурова! — сказал Шелапутов (Шеламотов? Шуралеенко?). — Не засиделись ли мы в диоскурийском блаженстве? Не время ли вернуться под купол стадиона и пугать простодушную публику песенкой о том, что песенка спета? Никто не знает, что это — правда, что канат над темнотой перетерся, как и связки голоса, покрытые хриплыми узелками. И лишь за это — браво и все предварительные глупые цветы. Ваш выход. Пора идти.

Так она и сделала.

Оставшийся живучий некто порыскал в небе, где при творно сияла несуществующая звезда, и пошел по лунной дорожке, которая — всего лишь отраженье отраженного света, видимость пути в невидимость за горизонтом, но ведь и сам опрометчивый путник — вздор, невесомость, призрачный неудачник, переживший свою Собаку и все, без чего можно обойтись, но — зачем?

# **СТАТЬИ, ЭССЕ, ВЫСТУПЛЕНИЯ**



## СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...

Стихотворение, подлежащее переводу, проживает сложную, трехкратную жизнь. Оно полнокровно существует на родном языке и потом как будто умирает в подстрочнике. Лишенное прежней стройности и музыки, оно кажется немым, бездыханным. И это — самый опасный, самый тревожный момент в судьбе стихотворения. Как поступит с ним переводчик? Сумеет ли он воскресить его, даровать ему новую жизнь, не менее щедрую и звучную, или так и оставит его неодушевленным?

Мне всегда казалось, что в подстрочном переводе есть что-то обнаженное, незащитное. Он — как дитя, оставленное без родительского присмотра. Теперь от переводчика, человека постороннего, зависит: усыновить ли это дитя, вдохнуть ли в него всю свою нежность и заботу или так и оставить его убогой сиротой в чужом языке.

Поэтому я думаю, что перевод — это проявление огромного доверия двух поэтов, где один из них приобщает другого к своей сокровенной тайне. И тому, другому, нужно иметь много деликатности, проницательности и фантазии, чтобы по контурам подстрочника восстановить действительный облик стихотворения, подобно тому, как ученый восстанавливает по черепу черты прекрасного древнего лица.

Вероятно, смысл перевода сводится к одному — переведенное стихотворение должно стать не смутным намеком

на его первоначальные достоинства, а полноправным участником другой поэзии, праздником другого языка.

Но все это — очевидно, и спор возникает только вокруг пределов точности, не установленных до сих пор.

Мне хотелось бы сослаться на свою работу над переводами грузинских поэтов — не потому, что я считаю ее поучительным примером, а просто потому, что в ней я осведомлена больше, чем в какой-либо другой, может быть, более удачной.

Должна признаться, что я никогда не старалась соблюдать внешние приметы стихотворения: размер, способ рифмовки, — исходя при этом из той истины, что законы звучания на всех языках различны. Полная любви и участия к доверенным мне стихам, я желала им только одного — чтобы они стали современными русскими стихами, близкими современному русскому читателю.

Пытаясь сохранить нежную, сбивчивую, трепетную речь Анны Каландадзе, прекрасную странность ее оборотов, я часто прибегала к свободным, необременительным размерам. Я брала за основу стро́ки подлинника, цельность которых не имела права нарушить: «О, есть что-то, безмерно заставляющее задуматься...», «Я слечу на твои синие ветки, сирень...» — и приспособлявала к ним все стихотворение. Кроме того, этим замедленным ритмом мне хотелось подчеркнуть задумчивость, сердечную рассеянность поэтессы, необыкновенную привольность ее души. И напротив, напряжение острого чувства, патриотического, любовного, я пробовала передать короткой, напористой строкой, отчетливыми рифмами.

Я точно повторяла вслед за Каландадзе все географические названия в их подборе — тоже качество ее поэтического характера, ее страстная привязанность к Грузии.

Иногда, увлекаясь стихотворением, я позволяла себе некоторую свободу — но для того только, чтобы компенсировать потери, обязательные при переводе на другой язык.

Для грузинского читателя не секрет, что в прекрасном стихотворении Симона Чиковани «По пути в Сванетию» нет строк, впоследствии появившихся в переводе: «Теперь и сам я думаю — ужели по той дороге, странник и чудак, я проходил...» Но уверена, что этим определением — «странник и чудак», выбранным по собственной воле, я не обманула русского читателя, — я хотела еще раз напомнить ему о том, как причудлив, капризен внутренний мир этого поэта.

Мне пришлось несколько упростить стихотворение «Девять дубов», чтобы сделать его доступным русскому воображению, не испытывающему благоговения перед таинственной цифрой девять, плохо осведомленному в повадках дэвов.

Чтобы читатель не был строг к замысловатым образам стихотворения, не спрашивал с них строгой реальности, я ввела в конце строки, намекающие на восточную сказочность, на волшебство, открытое поэту: «В глаза чудес, исполненные света, всю жизнь смотрел я, не устав смотреть».

Я думаю, что иногда переводчик волен опустить те или иные детали, имея в виду не только разницу языков, но и разницу в поэтической психологии, в кругу образов различных народов.

В стихотворении Чиковани «Задуманное поведай облакам» есть строки: «Красотой своей ты наполнила кисеты моей души...» Полностью доверяя поэту, мне очень дорогому, я ни минуты не сомневалась, что по-грузински этот образ поэтичен и закономерен. Но в дословном переводе на русский язык он звучит грубо, почти вульгарно, и я попыталась обойтись без него, тем более, что очарование женщины и чувство поэта и так были очевидны.

Таким образом, автору угрожают две опасности со стороны переводчика, две свободы: преувеличение или преуменьшение. Мне кажется, в интересах стихотворения и то, и другое в какой-то мере допустимо. И вряд ли удастся точно установить, математически вычислить — в какой именно мере. Вероятно, определить это может только сам поэт, в одном случае поступая так, в другом — иначе. Достоверным кажется мне только одно — свобода переводчика возможна до тех пор, пока она не наносит ущерба свободе автора. При переводе должны оставаться неприкосновенными весь внутренний мир поэта, лад его мышления и существенные конкретные детали поэтического материала. Так, было бы грешно, да и не нужно, изменить эти, например, точные строки Чиковани: «А после — шаль висела у огня...», «Колени я укрепил ходьбою...», «Изогнутою, около Двуречья тебя увидеть захотел я вдруг...» В них и поэтическая мысль, и заведомое русское звучание настолько полноценны, что нет нужды их переиначивать. Это тот случай, когда грузинская грамматика обогащает русский текст. Я надеюсь, что стихотворение «Олени в гумне» обладает самостоятельным русским звучанием, и все же,

конечно, это совершенно грузинское стихотворение — не только из-за отраженной в нем географии, но и из-за такого, например, странного на первый взгляд, прекрасного грузинского образного поворота: «И вдруг, подобная фазану, невеста вышла на крыльцо...» И, наверно, переводчик должен быть очень бережен к этим проявлениям щедрого национального своеобразия.

Невольно присоединившись к дискуссии, я, кажется, не возразила ни той, ни другой стороне. Я просто хотела поделиться с товарищами по делу перевода некоторыми соображениями и подтвердить мою благодарность, мое глубокое пристрастие к грузинской поэзии, давшей мне много радости.

1960

## ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает, и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...»

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клекот, который все нарастает в горле, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поет сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но квеври — остро-конечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юного, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уж все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также все остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.

## ...К ТАИНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

Было, бывало, будет и впредь, есть и сейчас — сей, третий, час с начала дня, и все же до его начала, потому что еще длится непрочное мгновение июньской ночи — уж вы-то его растянете, используете во всю длину сновидений, вы, баловни, счастливы, не знающие, о чем идет речь. Выглядит это так: большая, пустая, нехорошо горячая тяжесть лба прячется в ладони, и все это рушится, клонится к столу. Озвучивается это так: «Я любил этот труд превыше всякого другого труда... я служил ему как мог... но я изнемог... неужели я навеки сослан на нежную каторгу чужой души, чужой любви, чужого представления обо всем, что есть?.. Дудки, довольно...» И все это — чистосердечно, и все это — ложь, друзья мои, потому что я не умею, не желаю жить без этого, да и не пробовала никогда. Но если вы и впрямь не знаете, о чем идет речь, — да все о том же: о таинственном, доблестном, безвыходно-счастливом деле перевода — я расскажу вам, как это начинается, как это для меня начиналось. Вот — ты молод, толст, румян, собственную неуязвимость принимаешь за ранимость, застенчивость выдаешь за надменность, и, украшенный всем этим, ты приезжаешь в иную страну — назовем ее: Сакар-твело — благосклонно взираешь, внимаешь, уезжаешь и понимаешь, что, уехав, ты остался навсегда в капкане нежности к ее говору, говорению, приговариванью, к ее

чужому, родимому языку, загромоздившему твою гортань горой, громом, горечью, виноградной гроздью огромного, упоительного звука. Так и будешь всю жизнь горевать по нему, по его недостижимости для твоих губ и гортань. Речь идет о деле перевода, и пора бы уже упомянуть какой-нибудь исчерпывающий, все объясняющий термин, но мне неведомо литературоведение, я не преуспела в нем, не начать ли мне со слова «обреченность». Обреченность — этому ремеслу, этому языку, этому человеку — переводимому тобой поэту, а ты и не знал, что он — твой родимый брат, точно такой же, как ты, но лучше, драгоценнее тебя, и вовсе не жаль расточить, истратить, извести на него свою речь, жизнь и душу. Вот он сидит рядом с тобой, вы говорите о пустяках, любясь друг другом, сходством, братством, нерасторжимостью навеки, но он сходит с крыльца, удаляется, углубляется в снегопад, Господи Боже, не тяжел ли этот снегопад его хрупким плечам, его бедному пальцу, в котором нет нужды в стране Сакартвело, там в зимних садах голубеют цветы иа, или фиалки, как вам угодно. Бывало ли с вами то, что было со мной: он всего лишь спускался с крыльца, оборачивался, помахивал рукой, не было в этом никакой многозначительности, его звали Симон Чиковани, я совершенно не умела без него обходиться, да и не будет в этом никогда нужды, он просто спускался с крыльца, но я точно знала, что больше я его никогда не увижу. С того снегопада, в который он ушел, начался мой иной возраст, который больше, печальнее, но лучше молодости. Этот возраст удобен для мастерства перевода. Симон, Симон Иванович, любовь моя, радость, благодарю, что меня во мне меньше, чем вас, я вас переводила, перевела — в себя и во что-то иное, дальнейшее, чему и мой уход в снегопад вовсе не помешает. Да вот вам и термин: подстрочник. Вот как он расшифровывается: стихотворение жило, ликовало, лепетало в своем родном единственном языке, и вот оно насильственно умерщвлено, распластано перед тобой на столе — нагое, бездыханное, беззащитное, оно — подстрочник, ты — переводчик, теперь все от тебя зависит: ты можешь причинить ему грубый вред дальнейшей мертвости или дать ему его же собственную, принадлежащую ему по праву, вторую, вовсе не лишнюю жизнь. И если ты не дашь ему всего, чего оно просит: музыки, утверждающей предмет его любви, свободы в твоём языке — не меньшей, большей, чем у тебя самого, — если ты не дашь, значит —



возьмешь, значит — ты и не переводчик вовсе, а грабитель, отниматель чужого, обкрадыватель человечества, единственного и полноправного владельца всех прекрасных стихотворений и музык. А как ты все это сделаешь, как ты вынудишь подстрочник проговориться о тайне первоначального звучания, как найдешь точное соответствие между драгоценной сутью и новым звуком, — этого я не знаю...

1970

## ВСТРЕЧА

Он умер, прошло сто лет и еще столько, сколько было мне в прошлом году, когда в августе, вечером, после дождя, я остановилась посреди парка, где некогда он бывал каждый день. Только что на повороте аллеи я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, полтора века назад вытесненный бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. Испытав раздражение, как если бы он действительно, пробегая, задел меня локтем, я повернулась и пошла обратно.

При поспешности его движений он все здесь осенил и насытил собой, и с памятью о нем нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. И все-таки ощущение совпадения с ним было искусственным и неточным.

Чтобы полностью воспроизвести в себе какой-то миг его зрения, я расчетливо направилась туда, где это было наиболее возможно, — к источнику, который он любил наблюдать. Нетерпеливая корысть владела мною. Я уже устала думать о нем, выслеживать его дыхание, уцелевшее в пространстве, мое возбуждение нуждалось в очевидной удаче и взаимности.

Я явилась со стороны кустов, чтобы застать в спину и врасплох обнаженную мраморную фигуру, обязанную стать посредником между моим и его настроением. Я горячо

ждала от нее, что она вернет моим глазам энергию его взгляда, воспринятую смуглым камнем в начале прошлого столетия. Приняв страстное заблуждение мозга за острие совершенного расчета, я могущественно нацелила его на ясные черты статуи и тут же поняла, что промахнулась, как человек, поцеловавший пустоту.

Да, конечно, он стоял именно здесь, в августе, вечером, после дождя, и видел юное бессознание этого тела, простое лицо со слабым выражением какой-то полудогадки, нежное, поникшее плечо, острую грудь, бесхитростные колени, открытые влажному падению кленовых листьев... Бог с ним! Теперь мне это было совершенно безразлично.

Разом утомившись и заскучав, я на всякий случай еще раз обошла вокруг, но так и не испытала никакого ответа. Я попила с ладони холодной воды, пустой и скучной на вкус, и, вдруг ощутив злобу и гнев, пошла прочь.

Но постепенно мои нервы опять сосредоточились на нем, и влияние его парка мучительно управляло мной, как сильный взгляд в спину, придающий движениям скованность и нетрезвость. Я тупо и ловко пробивалась вперед, сквозь оранжевую мощь заходящего солнца, обезумев от сильного предчувствия, заострившись телом и помертвев, как пес, прервавший слух и зрение, чтобы не мешать ноздрям вдохнуть короткую боль искомого запаха. И вот острым провидением лопаток я уловила тонкий сигнал привета, заботливо обращенный ко мне. Помедлив, я в торжественной тишине пульсов обернулась к этим деревьям, небесам и водам, к изваяниям, разумно белеющим среди зелени, ко всему, что не выдержало вдруг избытка его имени и в тоске и любви выдохнуло его мне в затылок.

В глубоком объеме сумерек чисто мерцало небольшое строение с хороводом колонн возле округлого входа. Откликнувшись призыву яркой белизны, я подошла и на песке возле ступеней различила резвый след маленькой ноги, лукавый и быстрый, как улыбка. Радостно засмеявшись, я ласкалась лбом к доброй прохладе колонн, обретая простоту и покой. Я знала, кто возвел их так справедливо, и благодарила его за ясность ума. Беспечная свобода удлиненного здания сдерживалась суровой и прочной дисциплиной колонн, и в их соразмерном порядке было легко на душе, как под защитой простого закона. Вероятно, и тот, ради кого я пришла сюда, отдыхал здесь от жгучей и неопределенной вспыльчивости юного мозга, упершись

сильным лбом в трезвую зрелость мраморных полукружий. Образ его, утомивший меня сегодня, притих и утратил настойчивость, и я могла расстаться с ним с приятным чувством победы.

Я вернулась в город и прекрасно спала в маленьком старомодном номере, даже во сне радуясь его тихому плюшу и бесполезной меди канделябров.

Утром я пошла в дом, где он жил и умер, и, привязав к обуви огромные шлепанцы, поднялась в небольшую квартиру, много раз реставрированную и все же хорошо сохранившую выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивали лица к многочисленным стендам, и в этой осторожной позе все казались длинноносы и трогательно нехороши собой.

Я сразу же попала в острое чувство разлуки с ним, как будто не застала его дома вопреки ожиданию. Все его изображения и копии писем и документов не открывали мне смысла его тайны, а, напротив, отводили меня вдаль от нее, в сторону чужого и общепринятого объяснения его личности великого человека.

В одной из комнат я столкнулась с большой группой экскурсантов, возглавляемой ученой сотрудницей музея. Уверенным голосом она перечисляла печальные приметы его жизни, безошибочно тыкая указкой в долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Мне нелегко было это слушать, и, мельком глянув на меня, она, видимо, заметила в моем лице непослушание истине, самостоятельность любви, неподвластную ее хозяйской воле. С каким-то злорадным упорством она стала обращать свои пояснения ко мне, и, попав в неловкую зависимость от ее сурового взгляда, я не могла уйти. Оценив мое смирение и несколько смягчившись, она, как для пения, возвысила голос, чтобы объявить мне о его трагической гибели, но я, с неожиданной непринужденностью, повернулась к ней спиной и вышла.

Теперь я очень торопилась, желая разминуться с экскурсией. И все же я задержалась возле скромной витрины, хранящей под стеклом полметра мягкой черной материи, приведенной портным к изящному точному силуэту. Это был жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер поразил и разжалобил меня, и живая прочность моего тела встрепенулась в могу-

чем состраданию, готовая к прыжку, чтобы защитить собой чью-то родимую, горячую беззащитную худобу...

Внизу, во дворе, где флигели и сирень все еще пребывали в кротком уюте прошлых столетий, маленькая чужая девочка радостно уставилась на меня и сказала с чистосердечной любовью: «Здравствуй!» Я посчитала это доброй приметой и заторопилась ехать, как если бы он ждал меня и я знала где.

Теперь, когда я знала, что скоро уеду, я шла медленно, чтобы утомить и измучить себя этим городом и не жалеть о разлуке с ним. Он был слишком просто сложен, чтобы не замечать этого. Каждая его улица, блистающая логикой и прямизной, требовала художественной разгадки и угнетала разум непрерывным трудом восхищения. Старинные здания, населенные современной обыденной жизнью, казались мне нездешними и необитаемыми, как Парфенон, и, запрокинув голову к их ясным фасадам, я испытывала темное беспокойство невежды, взирающего на небеса. Тот, чьи следы привели меня сюда, с легкостью любил этот город: для него совершенство было будничным и произвольным вариантом формы, ничего другого ему и в голову не приходило.

## ВЕЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Сначала слышалось только: «Бу-бу-бу...» Это большие бабушкины губы бубнили над непрочным детским теменем, извещая его о грядущей истине, о радости, дарованной всем ни за что ни про что, просто за заслугу рождения. Потом, в сиротстве эвакуации, бормотание прояснилось в слова — до сих пор пугаюсь их нежной и безвыходной жути: «Буря мглою небо кроет...»

Много лет спустя в Тригорском, при буре и мгле, при подсвечнике в три огня, услышу, как сама по себе, отвечая заводу прошлого столетия, расплчется в клетке маленькая золотая птичка — услада одиноких зимних вечеров. Может быть, и не было ее здесь тогда — тем хуже! Как тосковал он, как бедствовал в этих занесенных снегом местах!

Между этими двумя ощущениями — много жизни, первое беспечное обладание Пушкиным и разлука с ним на время юношеского смятенного невежества. Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берет его себе, и этот поиск соответствует поиску собственной зрелости. Какое наслаждение — присвоить, никого не обделив, заполучить в общение эту личность, самую пленительную в человечестве, ободряюще здоровую, безызычную, как зимний день.

Любоваться им — нелегко, мучительна тайна его ничем не скованной легкости. Откуда берется в горле такая свобода?

Подъезжая под Ижоры,  
Я взглянул на небеса...

О, знаем мы эту легкость и эту свободу. За все за это — загнанность в угол, ожог рассудка и рана в низ живота. Так и мыкаемся между восторгом, что жив и ненаглядно прекрасен, и страшной вестью о его смерти, всегда новой и затемняющей зрение.

И вспомнил ваши взоры,  
Ваши синие глаза.

Как это делается? Кажется, понимал это лишь А.Н.Вульф, считавший себя соучастником стихотворения, — ах, пусть его, наверно, так и было. Но с кем? С никудышным Алексеем Николаевичем ехал, доверчиво сиял глазами, подъезжал под Ижоры, а меня и в помине не было. Ужас тоски и ревности.

Ревности к Пушкину, как всегда, много. Все мы влюблены и ревнуем, как милое и обширное семейство Осиповых-Вульф, — к друзьям, к возлюбленным, к исследователям, к чтецам, ко всем, посягающим на принадлежность Пушкина лишь нашему знанию и сердцу.

Все мы чего-то ждем, чего-то добиваемся от Пушкина, — что ж, он никому не отказывает в ответе. Достаточно сосредоточить на нем душу, не утяжеленную злом, чтобы услышать спасительный шум его появления — не более заметный, чем при возникновении улыбки или румянца. Но не следует фамильярничать с его именем. Он знает, чем мы ему обязаны, и разом поставит нас на место с ликующей бесцеремонностью, позволенной только ему, — ему-то не у кого спрашивать позволения: «Читатель ждет уж рифмы «розы»...» Так и будем стоять с дурацким видом, поймав на лету его галантную и небрежную розу — в подарок или в насмешку.

Мы — путники в сторону Пушкина, и хотя это путь нашего разума, нашей нравственности, географически он приводит нас в Михайловское: где же быть Пушкину, как не здесь? Хранитель заповедных мест, или директор заповедника, С.С.Гейченко говорит, что нужно уметь позвать того, кто насытил своим очевидным присутствием воздух парка, леса и поля, и он незамедлительно ответит: «Ау!» Милый Семен Степанович, судя по вашему многознающему лицу, заглянувшему в тайну, вам не раз выпадала удача этой переключки.

Стало быть, муки, раны и смерти, подтвержденной непреложностью белого памятника за оградой монастыря, все же недостало Пушкину для отсутствия в мире?

Представляю, как белые аисты, живущие над входом в усадьбу, тревожно косят острым зрачком на многотысячную толпу.

Впрочем, про множество людей, сведенных в единство просвещенной любовью, уместнее сказать: человечество. К каким его счастливым обращено «ау», смутно брезжащее в парке, будто бы ответная приязнь, привет Пушкина — нам?

1969



## ЧУДНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Такая маленькая, родом из Выборга, и в облике — особенное выражение, по которому часто можно угадать истинных ленинградцев: неизгладимый отсвет благородного города, который день за днем отражался в пристальном лице человека и запечатлелся в нем чертой красоты. И — слабая голубая тень, неисцеленность от блокады, от страдания, перенесенного в младенчестве. Выпуклость лба — нежная и прочная вместе, как у людей, усугубивших врожденную склонность к знанию кропотливым трудом.

Но не в учености было дело, а в более грозной и насущной страсти, это я сразу поняла, когда увидела, как та, маленькая, с насупленным лбом, стоит одна между Пушкиным и множеством людей, пропуская через себя испепеляющую энергию этой вечной взаимосвязи. Казалось бы: много ли удали надо — быть экскурсоводом, но как доблестно, как отважно стояла, вооруженная указкой, готовая сопроводить к Пушкину или заслонить его собой, если вдруг сыщется среди паломников человек случайный, ленивый, грубый и невежда! И представьте себе — сыскался.

Она говорила приблизительно вот что. В тот день Пушкин проснулся, разбуженный своей улыбкой, словно внушенной ему извне в знак близкого и неизбежного счастья. Он заметался, домогаясь найти причину нарастающей радости, выскочил на крыльцо и, по привычке зрения к

простору здешних мест, глянул широко, с размахом, но близоруко увидел лишь спуск к реке, потому что над Соротью стоял туман и не пускал смотреть дальше. И вдруг, разом, без проволочки обнажилось сияющее пространство на том берегу — и душа, ликуя, ринулась на приволье. Он уже несколько часов бодро жил наяву, а непреодолимая улыбка все длилась. Он совсем забыл, почему оказался в этих отрадных местах. А ведь он всегда, ожогом гордости, помнил об этом. Не потому ли, что часть его сильной крови была сведуща в незапамятном опыте черного рабства, кровь его болела и запекалась в затылке, когда его неволили и принуждали? Но сегодня он был совершенно свободен. Только эта улыбка — кто-то поддерживал и разжигал ее своей непреклонной властью, и, когда он хотел переменить выражение губ, получался — смех... Если бы ему сказали тогда, что этот день пройдет, как все остальные, что его жизни, столь молодой, минет сто семьдесят пять лет и все люди, обнимаясь и плача, оповестят друг друга об этой радости, — о, какую гримасу скуки выразил бы он переменчивым и быстрым лицом! Что значат эти пустяки в сравнении с тем, что вот-вот должно случиться! Он с утра, с начала улыбки знал, что обречен к счастью, и все же кружева, порхнувшие в двери, застали его врасплох — он испугался, что так неумен. А она, как вы знаете, была гений и светилась себе на сильном солнце, не имея ни единого изъяна, как белый день и природа. Вот, кстати, ее плавный профиль, рисованный его рукой.

Но какой двоякий у нее голос: нежный и важный, как у благовоспитанного ребенка, но с потайным дном темной глубины, на устах детский лепет, а в изначалье горла — всплески бездны, взрослой, как мироздание.

По этой аллее они гуляли, он все был неловок, и она споткнулась — о, ужас! — не был ли при этом поранен ее башмачок? Нет, слава Богу, нисколько, вот на этой скамеечке, обитой зеленым, он гостил, целый и невредимый, видите подпалину на увядшей зелени? — это он потом поцеловал незримый след того башмачка. Вот каково было чудное мгновенье его жизни, ставшее для прочих людей чудной вечностью наслаждения.

Тогда тот случайный и небрежный гость — помните, я говорила, что такой сыскался? — обратился к экскурсоводу и сказал приблизительно вот что. Все это нам и без вас известно. Но не кончилось же на этом дело, были у них

другие мгновенья! Прошу внести ясность в этот вопрос для сведения вот этих доверчивых и наивных граждан.

Та, маленькая, со лбом и указкой, выдвинулась вперед прыжком, на который не имел права Данзас и, обороняя уязвимую хрупкость, чьи изящные очертания сохраняет маленький жилет на Мойке, стала в упор смотреть на противника, пока он не превратился в темный завиток воздуха, вскоре развившийся в ничто. Даже жаль его, право, — разве что пошлый, а так безобидный был человек, как, впрочем, и победители роковых поединков, за смутное сходство с которыми он поплатился.

Та, о которой речь, хотя речь, как всегда, о Пушкине, жила в пристройке к длинному несуразному барскому дому, не однажды переделанному, горевшему и опять живому и здоровому. Некогда здесь обитало семейство, расточительное на дружбу и гостеприимство, возглавляемое просвещенной, пылкой и снисходительной маменькой и теткой. Барышень, своих и приезжих, всегда было в избытке, был и брат, резвый в шалостях и рифмах, не любимый мной единственно из упрямства и своеволия. Все это летало, лепетало, шелестело громоздким шелком, пело, пререкалось по-французски, было влюблено в Пушкина и любимо, дразнимо, мучимо и воспето им.

По вечерам из пристройки нам было слышно, как за стеной вздыхают одушевленные вещи, клавиши позванивают во сне, плачет заводная птичка, постукивают разгневанные или танцующие каблукки, спорят и любезничают голоса. Когда они уж очень там расходились, владелица указки строго глядела в их сторону — я знала, что она пылко ревнует Пушкина, и справедливо: он был ее жизнь и судьба, но, нимало не заботясь об этом, предавался дружбе, влюблялся, любил, а когда стоял под венцом, был бы вовсе бел лицом, если бы не его неискоренимое африканство.

Не от этой ли непоправимой тоски гуляла она вчера с приезжим бородачом, горестно запрокинув к пушкинскому небу юное старинное лицо? Впрочем, бородач в каморку не был допущен, и, когда нам уже не хватило свечи сидеть и разговаривать, мы услышали, как вошел Пушкин и уселся на табурет, подвернув под себя ногу по своему обычаю.

Вы скажете: это не Пушкин был! А я скажу: чьи же еще белки умеют так светиться в ночи, а губы темнеть в потемках, потому что их кровь смуглее, чем мрак? К тому же в

эту ночь пламенно белел Святогорский монастырь, и прямо над ним дрожало и переливалось причудливое многоцветье, не виданное мной доселе.

Вы скажете: это северное сияние проступило из соседних сфер. Я скажу: пусть так, а все же не раз приходил, сиживал неподалеку и однажды совсем втеснился в наше братство, хоть и скучал от наших разговоров о его вездесущей и невредимой жизни и славе.

Но тут, как на грех, случилась из города золотоволосая гостья, не сведущая в пятистопном ямбе. Она забрала себе все пламя свечи и стояла — насквозь золотая, как гений, как вечная суть женственности и красоты. Она имела в виду проведать упомянутого бородача, а того, кто сидел, подвернув ногу, она не узнала, да он ей и ростом мал показался, но она за дверь — и он за ней, только их и видели.

Вы скажете: а может, это все-таки не наяву было, а в стихах, например? Я скажу: если житье-бытье и бои с неукрошенным бытом — меньшая явь, чем стихи, как стану жить?

Чтобы окончательно запутать литературоведение, добавлю, что в ту недавнюю пору и в тех благословенных местах Пушкин был повсюду и на диво бодр и пригож — ведь это был октябрь, любезный его сердцу.

А может быть, дело просто в том, что Пушкина достанет на всех людей и на все времена, он один у всех нас и свой у каждого, и каждый волен общаться с ним по своему доброму и любовному усмотрению, соотносить с ним воображение, чувства и поступки.

## СЛОВО, РАВНОЕ ПОСТУПКУ

Спросили: каким представляете вы себе вашего читателя?

И я, пригасив зрение веками и ладонью, стала вглядываться в милый отвлеченный образ, творимый зрачком по моему усмотрению. Уже под веками и ладонью брезжил свет предполагаемой лампы, затевались в окне приметы неизвестного города, прояснялось чье-то дорогое лицо. Когда это лицо, с пристрастием и обожанием составленное мною из прекрасных черт и выражений, сбылось во всем великолепии, картина, видимо, изображала идеального в моем представлении читателя, и оставалось врисовать в нее том Пушкина или другую великую книгу, я в ней не была обозначена. С присущей мне витиеватостью я прямолинейно клоню к тому, что из читателей мне наиболее близки те, которые со мною как с читателем совпадают в главном выборе, — а я не из тех, кто зачитывается собственными строками. Совершенная правда, что чрезмерная похвала, выдвижение меня на недолжное место если и льстили моему грешному самолюбию, то все же внушали уму скуку и отчуждение. Так же трогала и пугала меня излишняя пылкость взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев, — ищущих немедленного и тесного житейского общения, — я как читатель этого не понимаю. Почему-то это совершенно не противоречит тому, что среди иных взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев я обрела

близких и необходимых соучастников жизни — как-то не насильно, само собою случилось. Впрочем, все это просто: между пишущим человеком и читающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

Если и была у меня нужда измышлять отстраненный образ читателя, то лишь затем, чтобы полюбоваться лицом человека, склоненным над книгой, обращенным к тому, что в вашем сознании может быть озаглавлено именем Пушкина или соответствует смыслу этого имени в другом языке, в другой географии. Я, подобно всем, кому прихожусь собратом и коллегой, не только кровно и зависимо соотношусь с читателем даже без явных сигналов его внимания и участия, но получаю письма и едва ли не каждый день вижу его воочию во время выступлений или других, преднамеренных или случайных, встреч. Среди неисчислимых любителей поэзии есть — пусть немного, пусть сколько-то — тех, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Это значит лишь, что я разделяю с кем-то особенную страсть к родимой речи, к ее усугублению по мере жизни и к невредимой сохранности и что кто-то одобряет способ труда и жизни, которым я намеревалась этому послужить и не имела другой корысти. Способов столько, сколько поэтов, и покуда я не преуспела в том, чтобы мой показался мне совершенным. Но я знаю, что тот читатель, о котором я говорю, полагает, как и я, что слово равно поступку, и сознает его нравственное значение. Та любовь к поэзии, которая оборачивалась благосклонностью ко мне, бодрит и укоряет меня и держит мою совесть в надобном напряжении. И вовсе безотносительно ко мне, особенно во время дальних путешествий, меня не раз поражала высокая просвещенность современного читателя.

И еще я видела множество людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении и был краше и больше моего, с ними связана я всею жизнью до последней кровинки.

Я надеюсь отслужить жизни, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг и видела доброту людей, которым сейчас, на рассвете, я так сильно, так сосредоточенно желаю счастья в Новом году и всегда.

## МАЛЕНЬКИЙ ЭКСПРОМТ В ЧЕСТЬ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Начну с начала. Опишу все по порядку.

Представьте себе человека, который сидит у столь большого окна, что, не поводя головой из стороны в сторону, он не может увидеть все, что видно в окно.

День сияет, ночь смеркается лишь на мгновение, человек давно уже так сидит, поводит головой из стороны в сторону и видит непомерное множество невской воды и столько обожаемого им города, что этого слишком много для одного взора, для яви.

Загадки никакой: так построен отель, так высоко и велико окно, и человек терзаем избытком того, что он видит, и своим мучительным долгом описывать неопишемое. Человек думает, что Пушкин... И в это время звонит телефон и спрашивают: «Что вы думаете о Большом театре?» Как, ко всему, что мучит ум, уже болеющий белой ночью, нужно прибавить еще одно раздумье?

Гаснет купол Исаакия, темнеет в Летнем саду, разводят один мост, другой, краткая темень и снова во всю величину окна сверкает Нева. Человек улыбается: он ловит себя на том, что вот уже сутки он думает о Большом театре, и это совпадает и с Пушкиным, и с тем, что в окне. Стало быть, не только на своей площади, но и в сознании человека воздвигнут Великий Театр, и достаточно малого оклика,

намека, и вот он явился перед памятью, перед влюбленным зрением.

Первое воспоминание: драгоценный, красный с позолотой воздушный шар — вождение моего детства. Бабушка купила, намотала на палец нитку, а шар размотал ее своей силой, освободился от детской алчности. Разрывание сердца, утрата рук и прибыль зрения: красный шар в синеве вселенной, нежная белизна хрупко-громоздкого здания, прочно опершегося на колонны, посылающего в небо коней. Не знаю, говорила ли бабушка: «Смотри, это Большой театр», вряд ли, я уже должна была и прежде это знать, но увидела так впервые, уже раз и навсегда.

Затем — непрерывная удача детства, счастливое знакомство мамы, и на все, на все спектакли ведут, дают перламутровый бинокль, алеет бархат, блестит позолота, меркнет люстра — и ах!

Как прекрасно, как безумно ты, возлюбленное человечество. Разве мало просто ходить и разговаривать, а ты вон что: на носках, на божественных и невероятных пуантах, бесшумных, а все же и слух знает наизусть их быстрый-быстрый лепет по сцене, невысказанно изогнув шею, всем телом свершаешь подвиг красоты, и чьи-то уста уже разомкнулись для пения. Да не чрезмерность ли это? О нет, это именно то, что соответствует твоей сути.

Принаряженное дитя еще не понимает смысла слезы, мешающей смотреть в перламутровый бинокль. Там просто — ножка о ножку, прыжок, повисание, прыжок, но почему это причина для слез? Восходит надземная люстра, прощай, бинокль, зато вот пальто, как будто одно заменит другое! Большой театр парит и блещет, что ему до маленького человека со слезой, чью судьбу и речь он нечаянно и непреклонно слагает и пестует; много лет пройдет, и в его честь вдруг, ни с того ни с сего, расплачется человек при Неве, при Летнем саде, клянусь вам, что — плачет.

Удачливый московский ребенок вырастает в печального счастливчика, который по-прежнему держит перламутровый бинокль и обмирает, пока меркнет люстра. Потом по неведомой причине он вовсе не ложится спать, соотнося имя Театра и величину его значения, и, видимо, одно совпадает с другим, если уже новый день сияет, а человек все еще думает о том, о чем его мимолетно спросили по телефону.

И за это судьба осыпает его подарками невероятных совпадений: в это же время балерина дарит ему свои балет-



ные туфли: вот они лежат, розовые, грациозные, в забытьи — потому что они почти сведены на нет возвышенным трудом.

И открывается дверь, и входит человек, ему семьдесят три года, и вся его жизнь — это Большой театр, бывший, нынешний и грядущий — бесконечный. Я безмерно люблю его и почитаю, как и великое множество людей. Он спрашивает: «Как Вы поживаете? Вы, кажется, устали? Вы спать не ложились?»

Я смотрю на него, усилием зрачка побарываю и скрываю влагу и говорю: «Все хорошо. Просто я поздравляю Вас с двухсотлетием Большого театра».

Я поздравляю вас с двухсотлетием Большого театра.

## ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ

...Да, в декабре, в теплыни декабря, в жаркий день декабря несколько человек сидели за столом и говорили друг другу добрые слова. Один человек прикрыл глаза рукой и вышел. Он скрывал влажность глаз, но все же сквозь влагу, которой он стыдился, увидел чудный сияющий день, прелесть воздуха и земли, детей, играющих с собакой. Короче говоря, заплакал человек, не знающий, чем отслужить людям и природе их доброту и красоту.

Кто-нибудь спросит: да бывает ли так — теплый декабрь, неожиданная зелень поверх земли, только добрые люди и только дети, играющие с собакой? Так бывает. Тот человек — это я была, и все соучастники того декабрьского дня знали, что все это — совершенная правда. Кто-нибудь спросит: может быть, это в Грузии было? Там в декабре стояли жаркие дни, и там принято говорить друг другу добрые, долгие слова, которые называются тостом. Да, там это было. И вот что сказал мне мой друг и коллега:

— Подлинный тост — это те слова, которые подтверждены сосредоточенностью души на благе и благоденствии человека, о котором ты сейчас говоришь и думаешь. Это твое страстное слово в пользу другого, других.

Я верю во все это. Я хочу, чтобы человек раскрывал уста лишь затем, чтобы сказать доброе слово. Если ночью он не спит и глядит в смутный потолок, то лишь затем, чтобы

сосредоточить на ком-то другом добрый помысел, сильный, как колдовство, неизбежно охраняющее чью-то жизнь, чье-то здоровье. А за это, за это — всё. За это — приходит в гости ель, и дети томятся в ожидании волшебства, не зная, что оно уже с ними. Ель еще за закрытой дверью, но она уже посылает им свой привет.

Алиса опять и всегда в Стране чудес, как в моем и в вашем детстве. «Алиса в Стране чудес» — вот еще один подарок — пластинка, выпущенная к Новому году фирмой «Мелодия», пришла ко мне новым волшебством. И как бы обновив в себе мое давнее детство, я снова предаюсь обаянию старой сказки, и помог мне в этом автор слов и мелодии песен к ней В.Высоцкий.

Я клоню к тому, что Новый год — это наиболее удобная пора для людей делать друг другу подарки, любоваться друг другом и желать счастья.

## **РЕЧЬ НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ**

*(26 мая 1994 г. МХАТ им. А.П.Чехова)*

У меня есть основания и есть возможность подумать о том, как причудлив и как в общем отраден путь человека. Даже самое мое пребывание на этой сцене, оно как бы нечаянно, даже величественно совпадает со всеми зигзагами моего жизненного, житейского сюжета. Да, сцена знаменитого театра, да, когда-то, давным-давно, в незапамятные времена я могла в раннем детстве из публики смотреть сюда на «Синюю птицу» Метерлинка. И сейчас, соотносясь с залом, хорошо различая лица в зале, я могу думать, что волшебный, туманный, синеватый сюжет еще не исчерпан.

Но я уже привадилась к этой премии задолго до того, как мне ее сейчас вручили драгоценные руки Андрея Георгиевича Битова. Дело в том, что для начала я поздравляла тех, кто получил ее до меня, и, когда сейчас вспоминаю мои светлые, очень разные ощущения, я могу причислить их к своим пусть немногим, но все-таки заметным достоинствам: мне была совершенно присуща черта восхищаться талантами других людей, радоваться их успехам, тем более, что не так часто это случается. И мне кажется, что пусть не главный, но все-таки обязательный признак человеческой одаренности — это любовь к таланту других людей, умение ликовать по поводу этого счастливого события: восхитительного таланта кого-то другого.

Надо сказать, что Андрей Георгиевич Битов первый получил эту премию, и я вижу в этом высокое счастливое начало. Время было не так к нему благосклонно, и даже вручение этой премии вызвало недовольство официальных кругов. То ли дело сейчас. Я получаю премию, я вижу в зале дорогие для меня лица людей. Со многими, если не со всеми из тех, кто почтил меня своим присутствием, связана вся моя жизнь, ее взлеты и провалы. Всех вижу и благодарю.

Так же хорошо я вижу во втором ряду господина Хельмута Тёпфера и еще раз, как и прежде за других, с таким же чувством гордости и радости я благодарю Германию, благодарю Фонд Алфреда Тёпфера, радуюсь дящемуся уделу этого человека, который умер в прошлом году на сотом году жизни. Но пока будут лауреаты, пока милость этой премии будет с ними соотноситься, имя Алфреда Тёпфера будет длиться, будет действовать во славу Германии и России, во славу их постоянного единения. А что касается этого единения, оно несомненно очень ярко, живо, выпукло, потому что великие русские поэты имели пристрастие крови, жизни, сердечной тоски к Германии. Марина Цветаева утвердила, что именно Германия есть родина музыки и поэзии. К ней относилась она наивысшее слияние этих двух музык: музыки и музыки поэзии. По ней всегда она тосковала, ее горю сочувствовала, когда в трагические для Германии и для нее годы, в тридцатые, она заслоняла своим бедственным, сиротским силуэтом образ Германии и говорила, что над всем и всегда образ Германии — «профиль Гёте над водами Рейна», а все остальное — лишь мимолетное несчастье.

Пастернак в юности был взлелеян Марбургом, и не однажды это сумрачное и неотъемлемое переплетение культур будет напоминать нам о себе, и хорошо, что и мой скромный опыт так или иначе относится к этому.

Пожалуй, наибольшее слияние этих душ: душ поэзии и поэзии, музыки и музыки являет нам совпадение, столь величественное, столь трагическое: Цветаева и Рильке, Пастернак и Рильке. И если Марина Цветаева с ее попирающей, пугающей силой любви, обожания к корреспонденту, к собеседнику иногда принимала в руки некую пустоту, потому что собеседник уклонялся, искал укрытия, боясь быть сметенным столь могучей силой чувства, Рильке, с которым она так и не встретилась, один протянул ей ответные руки. И эти руки поэта и поэта, навсегда протянутые друг к другу и не встретившиеся в пространстве,

может быть, они и означают союз, который всегда будет занимать наши умы. Вослед великим поэтам, великим людям, и я когда-то написала по поводу музыки, музыкантов: «Германия моя, гармония моя...» Это созвучие, неперебиваемое на немецкий язык, тоже относится к тому, что ощущаю я вместе со всяким слухом, вместе со всяким сердцем, обращенным к искусству, к культуре Германии.

Сегодня обстоятельства как бы для меня наиболее благоприятны. Я уже сказала, как я ценю лица, светлые выражения лиц в зале, хорошо различимые в полумраке. Но само собрание вот здесь, на сцене, должно быть исчерпывающе утешительным. Я имею удобный случай поздравить Ольгу Постникову и Зуфара Гареева, моих младших молодых коллег, поздравить их, пожелать им счастливого пребывания в Германии и многих успехов в творчестве. Я радуюсь за их возраст. Не будем думать, что все-таки обязательно поэту, писателю, художнику следует начинать жизнь с гонений, непризнания и со всяких испытаний, подчас неприятных...

Благородная духовная инициатива Германии, фонда, который называем Фондом Тёпфера, особенно драгоценна для нас, потому что мы совсем не избалованы приязнью к судьбе художника, особенно в его молодости. Будем надеяться: продлится.

Здесь — Олег Чухонцев. Он член жюри, но для меня он несомненно соучастник души моей и обитатель моего сердца. Всем известна изысканность и неколебимая чистота его поэзии... И мой друг дорогой Фазиль Искандер, которого я поздравляла прежде, чем он меня... Андрей Битов... Чего же мне еще желать? Пожалуй, более нечего. И мне остается доказать и вам, досточтимая публика, и вам, досточтимые коллеги, что я, надеюсь, по мере жизни не так уж провинилась перед именем Пушкина. Мы все соотнесены с ним, все мы знаем, что каждый говорит, имеет право говорить: «мой Пушкин». Недаром Пушкин вызывает такие живые, такие страстные чувства: ревности и всяких других сердечных признаний. Вот Андрей Георгиевич утверждает, и я уверена, он не ошибается, — что ему однажды довелось видеть, как Александр Сергеевич усмехнулся в его сторону, усмехнулся с приязнью и с несомненной благосклонностью. Булат Шалвович Окуджава видел, как Александр Сергеевич прогуливается... И вот ко всем этим замечательным обстоятельствам прибавляется то обстоятельство, может быть, главное: 26-е мая, день по прежнему стилю, но все-таки так, 26-е мая — это день рожде-

ния Пушкина, и что может быть лучше, чем этот день. Наша жизнь, хотя бы в течение года, а в общем и во все годы нашего житья-бытья, так и делится: то мы ужасаемся его гибели в феврале по новому стилю и потом как-то оправляемся от этого страшного несчастья и уже можно готовиться к ослепительному дню его рождения. Так что всегда есть утешение: страдание в феврале и ликование в мае или 6-го июня по новому стилю.

Мне, как и всем, доводилось соотносить себя с Пушкиным. И в моих сочинениях, и в моих размышлениях так или иначе присутствует он. Всё так и измеряется степенью этой опрятности (слово Пушкина), опрятности, на которую способен организм, увенчанный умом, какой уж есть. Да вот лишь бы как-то не поступиться этой честью, не посрамить себя не только перед премией, которую все-таки, что и говорить, приятно принять в ладони, но и перед именем, заглавным в нашем сознании, перед именем Пушкина.

Я выбрала кое-что, чтобы прочесть, и Андрей Георгиевич несколько облегчил мою задачу: он прочел несколько моих стихотворений. Поэтому я могу меньше утруждать ваш слух, ваше внимание. Вот стихотворение, которое Андрей Георгиевич Битов упомянул, называется «Сад-всадник». Я его и собиралась прочесть, рада, что я еще раз попробую угодить Битову, но также есть и другие причины, потому что это стихотворение совпадает с темой, которая и сама по себе здесь живет, и мною объявлена: тема музыкального совпадения Германии и России, России и Германии.

Я скажу лишь несколько слов о происхождении этого стихотворения. Оно написано в тарусском уединении, как раз на том, приблизительно на том месте, где желала быть похоронена Марина Ивановна Цветаева. Мне довелось там какое-то время жизни снимать дом, дом, расположенный на месте бывшего кладбища. Там есть сад, впадающий в Оку, и обстоятельства природы, погоды, мысли о Цветаевой, о Цветаевых — пестовали и понукали это стихотворение к рождению. Оно имеет эпиграф из Марины Цветаевой и несомненно связано с нею, и даже не вообще с ее образом, а с одним ее сочинением, сочинением изумительным. Это эссе, посвященное «Лесному царю» Гёте. Сочинение так и называется «Два „Лесных царя”». Марина Цветаева сравнивает всем известный с детства перевод Жуковского и немецкий подлинник, и этот анализ кружит голову, он поражает чувством языка, немецкой речи и русской речи, и все это доходит до сгущения и смешения такой силы, что нечего удивляться, если какой-то отзвук появляется и

какое-то стихотворение является всего лишь последствием этого чтения. Это мое стихотворение, которое называется «Сад-всадник», — робкое и подобострастное посвящение Гёте, чье имя, чей «профиль над водами Рейна» и воплощают для нас величие и бессмертие культуры и истории Германии, Германии и России. «Das wahrhaftig Schöne sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört», в переводе на русский: «Истинно прекрасное принадлежит всему человечеству». Гёте. Стихотворение таково:

### САД-ВСАДНИК

За этот ад,  
за этот бред  
пошли мне сад  
на старость лет.

*Марина Цветаева*

Сад-всадник летит по отвесному склону.  
Какое сверканье и буря какая!  
В плаще его черном лицо мое скрою,  
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.  
Вовек не бывало столь позднего часа,  
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,  
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?  
Где конь отыскался для всадника-сада?  
И нет никого, но приходится с каждым  
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает уголья,  
и гриву коня в него ветер бросает.  
Одною рукою он держит поводья,  
другую мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный  
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?  
— Не бойся! То — длинный туман над равниной,  
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:  
— Презренный младенец за паузой отчей!  
Короткая гибель под царскою лаской —  
навечнее пагубы денной и ночной.

О всадник-родитель, дай тьмы и теплыни!  
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!  
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,  
твой ли то речи, избранник-ошибка?



Другим не бывает столь позднего часа.  
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.  
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!  
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель  
на тихой вершине отвесного склона.  
О сад мой, заботливый мой погубитель!  
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,  
что слово Лесного Царя отворотимо.  
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:  
все было дано, а судьбы не хватило.

Сид дважды играет с обрывом родимым:  
с откоса в Оку, как пристало изгою,  
летит он нырятьщиком необратимым  
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью черной,  
в завремение позднем, сид-всадник несется.  
Ребенок, Лесному Царю обреченный,  
да не убоится, да не упасется.

Я держу в руках маленькую книжку, она усилиями опытного питерского подвижника, любителя словесности, только что вышла в Ленинграде, в Петербурге. Книжка невелика, изящно издана, называется «Ларец и ключ». Когда на нее гляжу вчуже, я думаю, что расхожее присловье «а ларчик просто открывался» навряд ли применимо к этому ларчику смугло-зеленого цвета. Дело в том, что стихотворения, собранные в этом маленьком сборнике усилиями, как я сказала, доброжелателя, искупают провинность моей молодости. Я много времени проводила на эстраде, и это известно. Я знаю многих людей, скучающих по тому времени, которое принято величать «шестидесятые годы». Я не разделяю этой печали, этой тоски. Я понимаю, что люди скорее скучают по своей молодости, по видимости единства, когда публика в больших количествах собиралась для слушания поэтов. На самом деле понятно, что поэзия не есть способ завораживать множество людей своей пусть даже пригожей, пусть даже благородной интонацией. Все-таки другое соотношение писателя и читателя наиболее правильно. Эти стихи уместнее, если их читать не вслух, а если их читать глазами. Но тут есть одно небольшое стихотворение. И я его прочту, тем более, что я знаю, что и так милостивый ко мне Андрей Битов к этому стихотворению тоже относится с симпатией.

## ОДЕВАНИЕ РЕБЕНКА

Ребенка одевают. Он стоит  
и сносит — недвижимый, неличный —  
угодливость приспешников своих,  
наскучив лестью челяди и славой.

У вешалки, где церемониал  
свершается, мы вместе провисаем,  
отсутствуем. Зеницы минерал  
до-первобытен, свеж, непроницаем.

Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.  
В разъятый пух продеты кисти, локти.  
Побыть бы им. Недолго погостить  
в обители его лилейной плоти.

Предаться воле и опеке сил  
лелеющих. Их укачаться зыбкой.  
Сокрыться в нем. Перемешаться с ним.  
Стать крипичкой под рисовой присыпкой.

Эй, няньки, мамки, кумушки, вы что  
ризнюнились? Быстрее одевайте!  
Не дайте, чтоб измыслие вошло  
поганым войском в млечный мир дитяти.

Для посягательств приткого ума  
возбранны створки замкнутой вселенной.  
Прочь, самозванец, званный, как чума,  
тем, что сияло и звалось Сиеной.

Влекут рабы ребенка паланкин.  
Журчит зурна. Порхает опахало.  
Меня — набег недуга полонил.  
Всю ночь во лбу несло и полыхало.

Прикрыть глаза. Сна гобелен соткать.  
Разглядывать, не нигляжусь покимест,  
палатцо Пикколомини в закат  
водвинутость и вогнутость, покатость,

объятья нежно-кименный зажим  
вкруг зрелища: развится мимолетность  
внутри, и Дева-Вечность возлежит,  
изгибом плавным опершись на локоть.

Сиены площадь так нарек мой жир,  
это его наречья идиомы.  
Оставим площадь — вечно возлежать  
прелестной девой возле водоема.

Врач смущена: — О чем вы? — Ни о чем.  
В разор несны ступаю я с порога  
не сведущим в хождение новичком.  
— Но что дитя? — Дитя? Дитя здорово.

И в завершение моего благодарственного выступления, невинный смысл которого и есть всего лишь признательность всем, кто причастен этому радостному для меня событию. Но чтобы порадовать вас и себя, я буду следовать своей же, мною придуманной традиции: на торжестве такого рода, а именно на вручении Пушкинской премии, я всегда читала не свои стихи, а стихи Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуй, всего угоднее мне читать стихи, написанные Пушкиным в последнее время жизни, стихи, которые всегда поражают и волнуют нас, стихи, состоящие из мысли о смерти, столь робкой, столь прозорливой, столь величественной, столь достаточной для того, чтобы и мы имели какую-то прить размышлять о смерти. У меня где-то было в стихах: «Еще спросить возможно: Пушкин, милый, зачем непостижимость пустоты ужасно воображать могилей? Не проще ль думать: это там — где ты?» Действительно жаль, в конце жизни расставшись с Пушкиным, стать к нему ближе. Может быть — так и есть?

Хочу прочесть столь любимое мной стихотворение. Я, по правде говоря, никогда не слышала, чтобы его читали вслух другие люди, артисты. Я не слышала, но зато я знаю, какие замечательные люди, мои друзья и коллеги, любили это стихотворение. И, может быть, это и будет как раз то место, где я должна вспомнить тех замечательных людей, тех замечательных писателей, которые не так давно или не вполне известны публике, но я их знаю, помню и люблю. Они не получали Пушкинской премии. Эти имена столь важны для меня, никакая милость судьбы, кроме изначальной, Божьей милости, на них не распространилась. Я назову три имени: Веничка Ерофеев, Владимир Кормер, Евгений Харитонов. Я видела, с какой доблестью сносили они все, что выпало на их долю, с какой доблестью и с какой усмешкой. Чудное выражение этого смеха, смеха в обстоятельствах, совсем не поощряющих уста к улыбке или усмешке. С любовью к этому стихотворению и с любовью к этим писателям — прочту. Я знаю, как Владимир Кормер любил это стихотворение... Сама всегда наслаждаюсь, когда его читаю про себя, а сейчас попробую прочесть вслух. Я уже говорила, что Пушкина на всех достанет, и разного Пушкина: и думающего о смерти, и Пушкина прозрачно веселого, смешливого, игривого, столь желанного для нас, чтобы улыбаться, чтобы ликовать. Стихотворение называется «Гусар», 1833 года. *(Читает стихотворение.)*

# **ВОСПОМИНАНИЯ**

## «ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...»

Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щек, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое лицо и тратил на него весь слух, видимо, полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щеки, вздор и угрюмое желание зарифмовать все, что есть, были моим вкладом в тот день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово «пальто» превосходит солидностью и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, перышко, немного черноты, условная дань чуждой зиме. Так же как его «дача», его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горе.

Обремененный лишь легкостью силуэта, он имел много удобств и преимуществ для того, чтобы «привлечь к себе любовь пространства»: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётном его походки и теперь совер-

шенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о «любви пространства» применительно к ним самим — совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чужак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так!

Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним небывалостью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, «подобная фазану»: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорек и строг.

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего...  
Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Мирибды,  
и девяти колодцев чистота.

Казалось бы, что мне в этом таинственном числе «девять», столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих «квеври» — остроконечные сосуды для вина? Но еще тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюбленным и прилежным братом, и этого неопределенного звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, крошечный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженством — радостью было воспроизвести в гортани его речь:

И, так и не изведавшая муки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Тайна этой легкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолетных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнешь горюшка.

Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многоученные люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, надобной природе для лепета и бормотания:

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит,  
и средь тутэвх веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Еще один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — еще снег был свеж и силен, еще никто не умер в мире — для меня. Снег, деревья, фонари, в теплых сенях — беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.

— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)

Кем приходится мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?

Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и сетовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан, из другого, предстоящего возраста, знак, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, и больше мне так не сидеть никогда?

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз изведавшему это  
не боязно однажды умереть.

Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.

Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как соединять воедино перо, чернила

и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любят лица тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.

Как миндаль облетел и намок!  
Дождь дорогу марает и моет —  
это он подает мне намек,  
что не столько я стар, сколько молод.  
Слышишь? — в тутовых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.



## ПРОЩАЯСЬ С ПАВЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ АНТОКОЛЬСКИМ...

Так вот какова эта ночь на самом деле. Темно, и в мозгу — стороннее причитание безутешного пульса: где ты сейчас, где ты, любовь моя, радость? Там, где твой мальчик в шинели, там, где твоя Зоя, там, где настигну тебя. Но где это? Почему это так непроницаемо для мысли? Или это запекшееся, изнывающее место в груди, видимо, главное в ночной муке, и есть твое нынешнее вместилище, твоя запасная возможность быть и страдать?

Давно, трепеща за него и обрываясь, душа уже попадала в эту ночь из предыдущего времени, примеряла к себе ее неподъемность, но в должный час оказалась неопытной, не готовой перенести. И сам он, зимою сидючи со мною на кухне, описывал мне эту ночь, предписывая и утешая, но и вглядываясь в нее особенным взором, стараясь разглядеть. Как тяжек тогда мне был этот взор, а ведь это было счастье: он издалека смотрел на эту ночь, он был жив. Я сказала: «Полно, полно! Я не собираюсь доживать до этого!» — чем испугала и расстроила его, и он прикрикнул: «Молчи!»

Вот по его вышло, не по-моему. А я и впрямь не собиралась, не умела вообразить этого. Из нас никто никогда не жил и не обходился без него, этому только предстоит учиться. Мы родились — он обрадовался нам, мы очнулись от детства — он уже ждал, протягивая навстречу руки, мы

старились — он благословлял нашу молодость. Мы разнежились в этой длительности, обманчиво похожей на бесконечность. Простое знание, что он — несомненно — чудо, было на стороне не тревоги, а детской надежды: он будет всегда, без него ничего не бывает.

Впервые я увидела его осенью 1955 года: он летел по ту сторону окон, чтобы вскоре влететь. Пока же было видно, как летит: воздев палку, издавая приветственный шум. Меня поразили его свирепая доброжелательность и его хрупкость, столь способная облечь и вытерпеть мощь, пыл, азарт. Он летел, неся деньги человеку, который тогда был молод, беден и захворал. Более с ним не разминувшись, я вскоре поняла, что его положение и занятие в пространстве и есть этот полет, прыжок, имеющий целью отдать и помочь. В его существо обитала непрестанная мысль о чьей-то нужде и невзгоде. Об этом же были его последние слова дочери Наталии Павловне. Раздаривание — стихов, книг, вещей, вещей, взглядов, объятий и всего, из чего он неисчислимо состоял, — вот его труд и досуг, прибыль расточителя, бушующего и не убывающего, как прибор: низвергаясь и множась.

И вот, мыкаясь в этой ночи, до которой довелось-таки дожить, что сейчас кажется мне пронырливым, хитроумно-живучим, я считаю все, данное им. Без жалости к себе я знаю, что взяла все его дары и подарки, и это единственное, что я для него сделала. Я не удержала его жизни — пусть вычитанием дней из своей. То есть они вычтены, конечно, но уже без пользы для него, наоборот. Долго идя к нему в последний раз, я опоздала на час — навсегда. Почему, пока мы живы, мы так грубы, бестолковы и никуда не успеваем? Он успевал проведать любую простуду и осведомиться о благополучии всех, и собаки.

И как сформулировать то, что подлежит лишь художественной огласке? Он это знал, когда писал о Сыне и Зое Бажановой.

Чтобы описать эту ночь, предоставленную нам для мысли о том, что он приходился нам жизнью, это степень нашего родства с ним, — надо писать, а здравого ума пока нет.

Я знаю, что книги остаются. Я убедилась в этом, открывая его книги на исходе ночи, когда проступал уже день, обезображенный его отсутствием, понимаю, конечно, что просто новый день, ни в чем не повинный. Он продолжал

оставаться чудом: жалел и ободрял, и его обычный голос отвечал мне любовно и внятно.

Я знаю его внуков и правнуков, в которых длится бег его крови.

Знаю, что жизнь его обращена к стольким людям, сколько есть их на белом свете, и это не может быть безответно и бесследно.

Но на самом деле я знаю, что утешения нет.

1978

## ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ П. Г. АНТОКОЛЬСКОГО

*(22 марта 1985 г.,*

*Центральный дом работников искусств)*

...Все мы — кто больше, кто дальше к Антокольскому, — но все мы задеты в нем его одной чертой: ведь он предъявил нам время и историю не как отвлеченность, а как некоторую интимность. Он сделал нас соучастниками того, что нам по возрасту как бы было недоступно. Хотя бы и впрямую. Вот я когда-то ему говорю: «Да вы этого не помните, это, знаете ли, было еще начало первой мировой войны». Он говорит: «Позволь, ты что, меня за просто уж дурака совсем считаешь? Как это я не помню начала первой...» Я говорю: «Ах да, помните?» Он говорит: «Я уже был весьма, весьма, весьма...»

И начало века — русская драгоценность, наше достояние. И ведь Павел Григорьевич предъявил это нам не как сведения из хрестоматии. А просто Павел Григорьевич состоял весь из артистизма.

Мы говорим: «Антокольский и театр». Что Антокольский сделал для театра. А он сам был театр!.. Антокольский был театр в самом высоком смысле этого слова. Он, конечно, всем, кто его знал, показывал, как читал Блок, как читал Брюсов, как читал Белый. Я не знаю, как на самом деле читал Блок, то есть знаю лишь так, по собственному как бы представлению, но я страшно любовалась. Это было страшно все похоже на Антокольского, но слуха и взора от

этого нельзя было устранить. Дело в том, что человек обязан быть театром для другого. Это ужасно, когда человеческое лицо представляет из себя какое-то скучное, незахватывающее зрелище. Человек обязан человечеству служить: или развлечением, или поучением, или каким-то даже просто душераздирающим действием. Ну, это ладно. Все эти Павла Григорьевича жесты: конечно, дарительные, конечно, ободряющие — они всем известны. А эти страшные прыжки на стул!

Но про время. И вот Блок. Павел Григорьевич показывал, как Блок читает. А Цветаева? Мы тут не всё ведь и знаем. Я вот сколько раз говорю: «Павел Григорьевич, а...?» Засмеется, да и не скажет. Но чудный образ Павла Григорьевича, оставленный нам Мариной Ивановной, необыкновенно убедителен в «Повести о Сонечке» — так же, как Завадского. Помните, там написано: «Прохладный он у нас» — так говорит няня о Завадском. И вот это я видела. Я однажды видела, как снимали Антокольского и Завадского вместе. И вот я не могла перенести, что этот прямо рвется на части, а тот действительно какой-то прохладный, как-то уцелевает...

Я это часто вспоминаю, и не однажды говорила, и опять скажу. Вот такой день описываю. День у Антокольского на даче. Приблизительно такое время года, как сейчас, только много лет назад. Ничего особенного не происходит. Вот Дуся накрывает на стол. Даже эти рюмки помню. Такие рябенькие, с ручкой. Остались они? И вот накрывает она на стол, а мы сидим — Зоя Константиновна, Павел Григорьевич да я, как счастливцев. Но я тогда этого не понимала, что я счастливцев: конечно, наверное, меня что-нибудь снедало, какая-нибудь уж меня тоска брала. Чего-нибудь мне не хватало. Тогда я не знала, что вот он — самый счастливый миг моего бытия. И вот, пока стол накрывается, вдруг страшный крик Дуси: «Пятух! Пятух! Чисто пятух!» Какой петух? Побежали — а это грач сидел на заборе, и в нем отражалась вся весна — в его черных перьях. И поэтому он сверкал действительно как фазан какой-то. И ослепительность этого мгновения я запомнила. И вскоре приехали Чиковани: Симон и Марика. И вот — я думаю теперь, что мы не успеваем узнать свое счастье.

Собственно, что такое счастье? Это и есть осознанный миг бытия. И если ты это поймешь, то тебе уже довольно, а если ты все чего-то хочешь и алчешь, то ты навеки несчастен.

Стихи вот. Даже глупо их и читать, может быть. Кстати, вот этим стихам больше, чем четверть века. При жизни Павла Григорьевича они напечатаны не были. А когда были, то уже их пришлось даже в какой-то порядок привести, потому что все-таки в большом идиотизме моей молодости я их сочиняла. И, кстати, Павел Григорьевич очень смеялся всегда от этих стихотворений. Зоя Константиновна тоже смеялась, но все равно говорила: «Это что такое, что это за вздоры какие — кого это на колени посади?» А на самом деле так было, что в первый раз (это все описано уже мною) — в первый раз я увидела Павла Григорьевича много, много больше, чем четверть века назад, и он шел именно помочь другому. Помочь поэту, который потом стал знаменит, а тогда ему просто нужно было. И вот я сначала увидела, как летит эта палка по воздуху, а затем явился и сам посетитель, сам даритель, который пришел помочь другому. А потом — я молода была тогда — и вот — в ресторане это все происходило. Я, конечно, обезумела, увидев этого человека в полном его действии. То есть что он даритель, я поняла сразу. Но вот когда он начал бесчинствовать за столом, то есть в благородном смысле бесчинствовать, и совершенно довел до отчаяния официанта — то есть до какого-то подобострастного восхищения или отвращения — даже непонятно, что. И я прочту это стихотворение в память о той встрече.

Официант в поношенном крахмале  
опасливо глядит издалека,  
а за столом — цветут цветы в кармане  
и молодость сдает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.  
Он, палкою по воздуху стуча,  
летит мимо испуганных прохожих,  
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,  
дай помахать и хлебом не корми!  
Гасконский, что ли, это темперамент  
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счету  
тот, кто — один. На белом свете он —  
один всего лишь. Но заглянем в щелку.  
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьет старик бедовый,  
потрескивая на манер огня.

Он — не старик. Он — перезвон бидонный.  
Он — мускулы под кожей коня.

Всё — чепуха. Сидит старик усталый.  
Движение есть ристоченье сил.  
Он скорбный взгляд в далекое уставил.  
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,  
неисполнение давешних надежд.  
А где же — Сын? Где этот строгий мальчик,  
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:  
как вы бодры... вам сорока не дашь...  
Молчали бы, летая по ступеням!  
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!  
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!  
Оно гудит под пологом кровати,  
закруживая, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,  
ах, все, что есть, оставит позади.  
Не исыкай, бессмертный Казанови!  
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.  
В чужом дому плачь домовым в трубе.  
Пусть женщина, капризница, мотовка,  
тебя целует и грозит тебе.

Зипри ее! Пускай она стучится!  
Нет, отпусти! На тройке прокати!  
Всё впереди, чему должно случиться!  
Оно еще случится. Погоди.

Второе стихотворение написано, судя по дате, через двадцать два года. В нем Симон Чиковани упоминается. Вообще Грузия занимает особенное место в судьбе всех русских поэтов, и в судьбе Павла Григорьевича — очень, очень заметно. И это наводит на раздумья. Да, влечет нас этот край — край прелестный, край искушающий. Но ведь не от хорошей жизни. Все-таки хочется передышки какой-то, ласки какой-то хочется. И Павел Григорьевич находил там и любовь и ласку. И до сих пор след его и Зои свеж в тех местах, и до сих пор глаза людей влажнеют, когда они вспоминают о нем. Так что Симон в моем стихотворении совсем не случаен. Они очень, очень были близки — Симон и Марика и Павел и Зоя.

Двадцать два, значит, года тому дню и мне восемнадцатилетней, или сколько мне — в этой, уму ныне чуждой поре, предпоследней перед жизнью, последним, что есть... Кахетинского яства нарядность, о, глядеть бы! Но сказано: ешь. Я беспечна и ем ненаглядность. Это все происходит в Москве. Виноград — подношение Симона. Я настолько моложе, чем все остальные, настолько свободна, что впервые сидим мы втроем, и никто не отторгнут могилой, и еще я зову стариком Вас, ровесник мой младший и милый.

Мы здесь все говорили о Зое. Скажу и я. Вот, знаете ли, кроме того, что Зоя — муза, Зоя — хозяйка очага, столь отрадного для всякого путника, Зоя — источник радушия, Зоя еще влияла на совесть других людей. И, наверное, и на Павла Григорьевича, но об этом уж не мне судить, а на мою весьма влияла. И как-то я бы перед ней постыдилась делать что-нибудь плохое. Иногда, когда она видела что-нибудь плохое, она говорила: «О Боже мой! Я, как Петроний, умру от отвращения». Я всякий раз думаю: надо узнать, действительно, как умер бедный Петроний. Но я это помню только из-за Зои — то есть это когда она видела нечто, не совпадающее с опрятностью поведения. И тут она была твердой. При всей необыкновенной хрупкости, столь драгоценной. Ну, они оба в этом замечательны. То есть это отсутствие плоти, негромоздкость, грациозность. Но она еще и действительно вождь и вдохновитель совести...

И еще Зоей был создан очень сильный мир. Как выяснилось, довольно хрупкий. Потому что, собственно, что — вещь? Она ничего не значит, пока она не одухотворена. И вот вокруг Зои, вокруг Павла Григорьевича были такие вещи. Это было созвездие одушевленных вещей...

Вот даже то, что вы знаете все: Павел Григорьевич без подарка не приходил и не уходил. Это было невозможно: уж что-нибудь да подарит. Вот недавно мать Володи Высоцкого меня спросила: «Белла, может быть, вы знаете — почему вдруг столько книг Антокольского у Володи — и все подписаны одним днем?» — и, говорит, еще разные предметы. Я говорю: «Еще бы мне не знать. Очень даже знаю». Очень, говорю, помню, что Павел Григорьевич не знал тогда



Высоцкого, а страшно интересовался. И был такой счастливый случай, что они совпали. И каждый блистал. Володя ведь, кроме пения и кроме всего, тоже был невероятно артистичен. Замечательно рассказывал. И вот так он пленил Антокольского. Я всегда любила, как Антокольский влюблялся — так, я видела, это было с Шукшиным, так вот это было с Высоцким. И, кстати, был родственник в доме с магнитофоном, и он все это записал, но пленка потерялась. И тогда Павел Григорьевич так был очарован, побежден, как всегда прельщен талантом другого человека — а лучше этого он ничего на белом свете не видел и не искал. Да и уж если не очень талантлив, да уж если хоть немножечко, да уж если просто не негодяй, и то — восхитительно. А тут уж такой счастливый случай. Это у нас было, и, конечно же, сразу все помчались, оседлали коней и поскакали на улицу Щукина, где Павел Григорьевич уже начал дарить все: то есть и свои книги, и всякие книги, и вещи...

## НЕ ЗАБЫТЬ

Мы встретились впервые в студии телевидения на Шаболовке: ни его близкая слава, ни Останкинская башня не взмыли еще для всеобщего сведения и удивления. Вместе с другими участниками передачи сидели перед камерой, я глянула на него, ощутила сильную неопределенную мысль и еще раз глянула. И он поглядел на меня: зорко и угрюмо. Прежде я видела его на экране, и рассказы его уже были мне известны, но именно этот его краткий и мрачно-яркий взгляд стал моим первым важным впечатлением о нем, навсегда предопределил наше соотношение на белом свете.

Некоторые глаза — необходимы для зрения, некоторые — еще и для красоты, для созерцания другими, но такой взгляд: задевающий, как оклик, как прикосновение, — берет очевидный исток в мощной исподлобной думе, осязающей предмет, его тайную суть. Примечательное устройство этих глаз, теперь столь знаменитых и незабываемых для множества людей, сумрачно-светлых, вдвинутых в глубь лица и ума, возглавляющих облик человека, тогда поразило меня и впоследствии не однажды поражало.

Однако вскоре выяснилось, что эти безошибочные глаза впервые увидели меня скорее наивно, чем проницательно. Со Студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма «Живет такой парень» с просьбой сыграть роль Журналистки: безукоризненно самоуверенной, дерзко

нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностью столичного обличья и нрава. То есть играть мне и не предписывалось: такой я и показалась автору фильма. А мне и впрямь доводилось быть корреспондентом столичной газеты, но каким! — громоздко-застенчивым, невнятно бормочущим, пугающим занятых людей сбивчивыми просьбами о прощении, повергающим их в смех или жалость. Я не скрыла этого моего полезного и неказистого опыта, но мне сказано было — все же приехать и делать, как умею. Так и делали: без уроков и репетиций.

Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный, стал драгоценной удачей многих актеров, моей же удачей было и осталось — видеть, как кропотливо и любовно общался с ними режиссер, как мягко и безгневно осуществлял он неизбежную власть над ходом съемок.

Что касается моего скромного и невразумительного соучастия в фильме, то я вспоминаю его без гордости, конечно, но и без лишнего стыда. Загадочно неубедительная Журналистка, столь быстро утратившая предписанные ей сценарием апломб и яркость оперения, обрела все же размытые человеческие черты, отстранившие от нее первоначальное отчуждение автора и героя. Был даже снят несоизмеренно долгий одинокий проход этого странного существа, не вошедший в заключительные кадры фильма, но развлекавший задумчивого режиссера в темноте просмотрового зала, где они шли навстречу друг другу через предполагаемую пропасть между деревенскими и городскими жителями во имя более важных человеческих и художественных совпадений. Преодоление этой условной бездны, не ощущаемой мною, но тяготившей его в ту пору его жизни, составило содержание многих наших встреч и пререканий. опережая себя, замечу, что если он и принял меня вначале за символ чуждой ему, городской, умственно-витиеватой и неплодородной жизни, то все же его благосклонность ко мне была щедрой и неизменной, наяву опровергавшей его теоретическую неприязнь.

Со съемок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моем сердце. Делая необязательную уступку наиболее любопытным читателям, оговариваюсь: из каких бы чувств, поступков, размолвок ни складывались наши отношения, я имею в виду именно дружбу в единственном и высоком значении этого лучшего слова. Это вовсе не значит,

что я вольна предать огласке все, что знаю: это право есть у Искусства, а я всего лишь имею честь и несчастье писать воспоминания.

В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень, правда, горюя, мыкались и скитались: он — потому, что это было первое начало его московской жизни, пока неуверенной и бездомной, я — потому, что тогда бежала благоденствия, да и оно за мною не гналось. Вместе бродили и скитались, но — не на равных. Ведь это был мой город, совершенно и единственно мой, его воздух — мне удобен, его лужи и сугробы — мне отрадны, я знаю наперечет сквозняки арбатских проходных дворов, во множестве домов этого города я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест, по ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и радушные хозяева не знали, что с гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюдимый гость, изредка всверкивая неукрощенным вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег.

Открою скобки и вспомню эти сапоги — я перед ними смутно виновата, но перед ним — нет, нет. Дело в том, что люди, на чьем паркете или ковре напряженно гостили эти сапоги, совсем не таковы были, чтобы дорожить опрятностью воска или ворса. Но он причинял себе лишнее и несправедливое терзание, всем существом ошибочно полагая, что косится на его сапог соседний мужской ботинок, продолговатый и обласканный бархатом, что от лужи под сапогами отлепetyвают брезгливые капризные туфельки. То есть сапоги ему не столько единственной обувью приходились, сколько — знаком, утверждением нравственной и географической принадлежности, объявлением о презрении к чужим порядкам и условностям.

В тех же скобках: мы не раз ссорились из-за великого Поэта, про которого я знала и знаю, говорила и говорю, что он так же неотъемлем от этой земли и так же надобен ей, как земледелец, который свободен не знать о Поэте, этом или другом Поэте, всегда нечаянно пекущемся и о земледельце, и на них вместе и держится эта земля. Есть известный фотографический портрет Поэта: в конце жизни, на ее последней печальной вершине, он стоит, опершись о лопату, глядя вдаль и вверх.

— В сапогах! — усмехнулся тот, о ком пишу и тоскую.

Так или приблизительно так кричала я в ответ:

— Он в сапогах, потому что тогда работал в саду. И я видела его в сапогах, потому что была осень, было непролазно грязно в той местности! А ты...

А он, может быть, и тогда уже постиг и любил Поэта, просто меня дразнил, отстаивал своевольную умственную независимость от обязательных пристрастий, но одного-то он наверняка никогда не постиг: нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей.

И все же — в один погожий день он по моему наущению был заманен в ловушку, где вручили ему сверток со вздором вещей: ну, костюм, туфли, рубашки... Как не хотел! А все же я потом посмотрела ему вслед: он шел по Садовому кольцу (по улице Чайковского), легкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта.

Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю: о, только бы — не напоследок.

Вот и все о бедных сапогах, закрываю скобки.

Да, о домах, куда хаживали мы вместе в гости, — ничего из этого не получилось. Поэтому чаще мы заходили в те места, в которые, знаете ли, скорее забегают, чем заходят. В одном из таких неприятельных мест на проспекте Мира, назовем его для элегантности «кафе», я заслужила его похвалу, если не хвалу — за то, что мне было там хорошо, ловко, сподручно и с собеседниками я с легкостью ладила. Много таких мест обошли мы: они как бы посередине находились между его и моими родными местами. В окне висела любезная мне синева московских зимних сумерек, он смягчился и говорил, что мне надо поехать в деревню, что я непременно полюблю людей, которые там живут (а я их-то и люблю!), и что какие там в подполе крепкие, холодные огурцы (а я их-то и вождедею!), что все это выше и чище поэтической интеллигентской зауми, которую я чту (о, какие были ужасные ссоры!).

Многие люди помнят пылкость и свирепость наших пререканий. Ни эти люди, ни я, ни вы — никто теперь не может сказать в точности: что мы делили, из-за чего бранились? Ну, например, я говорила: всякий человек рожден в малом и точном месте родины, в доме, в районе, в местности, взлелеявшей его нрав и речь, но художественно он существует — всеземно, всемирно, обратив ум и душу

раструбом ко всему, что есть, что было у человечества. Но ведь так он и был рожден, так был и так сбился на белом свете. Просто он и я, он — и каждый человек, с которым он соотнесся в жизни и потом, — нерасторжимы в этой пространной земле, не тесной для разных способов быть, говорить, выглядеть, но все это — ей, ей лишь.

Последний раз увиделись в Доме литераторов: выступали каждый — со своим. Спросил с усмешкой: «Ну что, нашла свою собаку?» — «Нет». — «Фильм мой видела?» — «Нет». — «Посмотри — мне важно».

Получилось, что его последнего фильма я еще не успела посмотреть, но он успел прочесть объявление о пропаже собаки. Но над этим — сильно и в последний раз сверкнули мне его глаза. И — прыгнул, бросив ему руку, Антокольский: «Шукшин? Я вас — почитаю! Я вас — обожаю!»

Дальнейшее — обозначаю я безмолвием моим. Пусть только я знаю.

Около Ново-Девичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне:

— Идите же! Вас — пустят.

Милиционер — не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала: «Я должна. Я — товарищ его. И я писатель все же, я член Союза писателей, но нет, понимаете вы, нет при мне билета».

Милиционер сказал: «Нельзя. Нельзя». И вдруг посмотрел и спросил: «А вы случайно не снимались в фильме «Живет такой парень»? Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор».

Я и впрямь изменилась с тех пор. Но не настолько, чтобы — забыть.

## О ЛАРИСЕ ШЕПИТЬКО

Так случилось, так жизнь моя сложилась, что я не то что не могу забыть (я не забывчива), — я не могу возыметь свободу забытья от памяти об этом человеке, от утомительной мысли, пульсирующей в виске, от ощущения вины. Пусть я виновата во многом, но в чем я повинна перед Ларисой? Я долго думаю — рассудок мой отвечает мне: никогда, ни в чем.

Но вот — глубокой ночью — я искала бумаги, чтобы писать это, а выпал, упал черный веер. Вот он — я обмахиваюсь им, теперь лежит рядом. Этот старинный черный кружевной веер подарил мне Сергей Параджанов — на сцену, после моего выступления.

При чем Параджанов? — спросит предполагаемый читатель. При том, что должно, страдая и сострадая, любить талант другого человека, — это косвенный (и самый верный) признак твоей одаренности.

Ну а при чем веер?

Вот я опять беру его в руки. Лариса держала его в руках в новогоднюю ночь, в Доме кино. Я никогда не умела обмахиваться веером, но я никогда не умела внимать строгим советам и склонять пред ними голову.

— Я покажу Вам, как это делается, — сказала Лариса. — Нас учили этому во ВГИКе.

Лариса и веер — стали общая стройность, грациозность, плавное поведение руки, кружев, воздуха. Я склонила

голову, но все же исподтишка любовалась ею, ее таинственными, хладными зелеными глазами.

Откуда же она взяла такую власть надо мною, неподвластной?

Расскажу — как помню, как знаю.

Впервые, отчетливо, я увидела ее в Доме кино, еще в том, на улице Воровского. Нетрудно подсчитать, когда это было: вечер был посвящен тридцатилетию журнала «Искусство кино» — и мне было тридцать лет. Подробность этого арифметического совпадения я упоминаю лишь затем, что тогда оно помогло мне. Я поздравляла журнал: вот-де, мы ровесники, но журнал преуспел много более, чем я. Я знала, что говорю хорошо, свободно, смешно, — и согласная приязнь, доброта, смех так и поступали в мою прибыль из темного зала. Потом я прочитала мое долгое, с прозой, стихотворение, посвященное памяти Бориса Пастернака. Уж никто не смеялся: прибыль души моей все увеличивалась.

Но что-то сияло, мерцало, мешало-помогало мне из правой ложи. Это было сильное излучение нервов — совершенно в мою пользу, — но где мне было взять тупости, чтобы с болью не принять этот сигнал, посыл внимания и одобрения? Нервы сразу узнали источник причиненного им впечатления: Лариса подошла ко мне в ярко освещенном фойе. Сейчас, в сей предутренний час, через восемнадцать лет, простым художественным усилием вернув себе то мгновение, я вижу прежде не Ларису, а ее взгляд на меня: в черном коротком платье, более округлую, чем голос, чем силуэт души, чем тонкость, притаившаяся внутри, да просто более плотную, чем струйка дыма, что тяжеловесно, — такова я, пожалуй, в том внимательном взоре, хищно, заботливо, доблестно профессиональном. Сразу замечу, что по каким-то другим и неизвестным причинам, но словно шлифуемая, оттачиваемая этим взором для его надобности, я стала быстро и сильно худеть — все легче мне становилось, но как-то уже и странно, рассеянно, над и вне.

Но вот я вглядываюсь в Ларису в тот вечер, в ее ослепительную невидимость в правой ложе, в ее туманную очевидность в ярком фойе: в отрадность, утешительность ее облика для зрения, в ее красоту. И — в мою неопределенную мысль о вине перед ней: словно родом из Спарты, она показалась мне стройно и мощно прочной, совсем не хрупкой, да, прочной, твердо-устойчивой, не хрупкой.



Пройдет не так уж много лет времени, будет лето, Подмоскowie, предгрозыe, столь влияющее на собак, — все не могла успокоить собаку, тревожилась, тосковала. Придут — и н-н-не смогут сказать. Я прочту потупленное лицо немого вестника — и злобно возбраню правде быть: нет! нельзя! не смей! запретно! не позволяю, нет. Предгрозыe разрядится через несколько дней, я запутаюсь в струях небесной воды, в электричке, в сложных радугах между ресниц — и не попаду на «Мосфильм».

Был перерыв в этом писанье: радуги между ресниц.

Но все это будет лишь потом и этого нет сейчас: есть медленный осенний предрассвет и целая белая страница для насущного пребывания в прошедшем времени, когда наши встречи участились и усилились и все зорче останавливались на мне ее таинственные, хладные, зеленые глаза.

Впрочем, именно в этой драгоценной хладности вскоре стала я замечать неувидимый изъян, быстрый убыток: все теплела, слабела и увеличивалась зеленая полынья. Таяние тайны могло разочаровать, как апрельская расплывчатость льда, текучесть кристалла, но, кратким заморозком самообладания, Лариса превозмогала, сковывала эту самовольно хлынувшую теплынь как некую независимую бесформенность и возвращала своим глазам, лицу, силуэту выражение строго-студеной и стойкой формы, совпадения сути и стати.

Неусыпная художественная авторская воля — та главная черта Ларисы, которая, сильно влияя на других людей, слагала черты ее облика. Лариса — еще и автор, режиссер собственной ее внешности, видимого изъяснения личности, поведения. Поведение — не есть просто прилежность соблюдения общепринятых правил, это не во-первых, хоть это обязательно для всякого человека, поведение есть способ вести себя под общим взором к своей цели: сдержанность движений, утаенность слез и страстей.

Эту сдержанность, утаенность легко принять за прочность, неуязвимость. Я любовалась повадкой, осанкой Ларисы, и уважение к ней опережало и превосходило нежность и жалость. Между тем я видела и знала, что ее главная, художественная, жизнь трудна, непроста: вмешательства, помехи, препоны то и дело вредили ее помыслам и ее творческому самолюбию. Это лишь теперь никто не мешает ей и ее славе.

Влиятельность ее авторской воли я вполне испытала на себе. Лариса хотела, чтобы я снималась в ее фильме, и я

диву давалась, замечая свою податливость, исполнительность: я была как бы ни при чем, у Ларисы все выходило, чего она хотела от меня. Это мое качество было мне вновь и занимало и увлекало меня. Лариса репетировала со мной сначала у нее дома, на набережной, потом на «Мосфильме». Все это было совсем недолго, но сейчас я четко и длинно вспоминаю и вижу эти дни, солнце, отрадную близость реки. В силе характера Ларисы несомненно была слабость ко мне, и тем легче у нее все получалось. Лариса открыто радовалась моим успехам, столь важным для нее, столь не обязательным для моей судьбы, ведь у меня — совсем другой род занятий. Но я все время принимала в подарок ее дар, ярко явленный в ее лице, в ее указующей повелительности.

Все-таки до съемок дело не дошло, и я утешала ее: «Не печальтесь! Раз Вы что-то нашли во мне — это не пройдет с годами, вот и снимете меня когда-нибудь потом, через много лет». Лариса сказала как-то грозно, скорбно, почти неприязненно: «Я хочу — сейчас, не позже».

Многих лет у нее не оставалось. Но художник вынужден, кому-то должен, кем-то обязан совершенно сбыться в то время, которое отведено ему, у него нет другого выхода. Я видела Ларису в расцвете ее красоты, подчеркнутой и увеличенной успехом, отечественным и всемирным признанием. Это и была та новогодняя ночь, когда властно и грациозно она взяла черный кружевной веер и он на мгновение заслонил от меня ее прекрасное печальное лицо.

Милая, милая, хрупкая и беззащитная, но все равно как бы родом из Спарты, — простите меня.

## **ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ В. ВЫСОЦКОГО** *(24 января 1987 г. Всероссийское театральное общество)*

Дорогие досточтимые друзья!

В вашем высоком присутствии, в этих благородных стенах, вблизи... этого лица, перед которым не хотелось бы мне провиниться, я хочу еще раз восславить этого артиста. Когда я говорю «артист», я имею в виду нечто большее, нежели просто доблестное служение сцене, лишь театру. Артист — это нечто большее...

Я не хочу приглашать вас ни к какой печали — все-таки завтра день р о ж д е н и я Владимира Высоцкого. Получается, что рождение поэта для человечества гораздо важнее, чем в с ё , что следует за этим и что разрывает нам сердце. Блаженство, что он родился. Привыкшая искать опоры лишь в уме своем или где-то в воздухе, тем более что этот близлежащий воздух для меня благоприятен, я хочу сослаться на что-нибудь, найти себе какие-то слова, вроде эпитафия.

И вот нахожу их. Это скромно и робко написано мною о Борисе Пастернаке. Это только несколько, просто буквально несколько строк, и потом я объясню себе и вам, почему мне нужен этот эпитаф, почему мне нужно это маленькое предисловие.

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность поэзы,

при этом не выгадывая пользы  
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже восходит фосфор голубой.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

Нечаянно вспомнив эти свои строки, я хочу соотнести их с той моей уверенной, но, наверно, неоригинальной мыслью, что Владимир Высоцкий по урождению своему прежде всего был поэт. Таков был способ устройства его личности, таков был сюжет его судьбы. То, что ему пришлось так много быть на сцене, что же, и за это воздалось ему всенародной любовью и всенародной славой. Высоцкий всегда был всенародно любим, слава его неимоверна. Но что, собственно, есть слава? Где-то еще и доука, это еще усугубление одиночества человека, которому нужно выбрать время и множество сил и доблести для того, чтобы сосредоточиться и быть наедине с листом бумаги, с чернилами.

Теперь, когда рукописи Владимира Высоцкого открыты сначала для тех, кто этим занимался в интересах будущих читателей, а потом, надеюсь, это все будет доведено до сведения читателей, теперь видно, как он работал над строкой, как он относился к слову. И единственное утешение себе я могу сказать, что я всегда ценила честь приходиться ему коллегой и я всегда пыталась хоть что-нибудь сделать, чтобы не скрыть его сочинения от читателей.

Мы мало преуспели в этом прежде, но путь поэта не соответствует тому времени, в которое умещается его жизнь. Главное — это потом... И сейчас можно удостовериться, что та разлука, которую с таким отчаяньем, с таким раздиранием души все время переживали соотечественники и современники Владимира Высоцкого с ним не только из-за его смерти, а еще из-за того, как будто п р е п о н а стояла между ними и теми, для кого он был рожден и для кого он жил так, как он умел.

Позвольте мне все-таки поздравить вас с счастливым днем его рождения. Это наша радость, это наше неотъемлемое достояние, и не будем предаваться отчаянью, а напротив, будем радоваться за отечественную словесность.

Позвольте прочесть три небольших стихотворения.

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий  
блеще Офелии бродят с безумьем во взоре.  
Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной:  
Так — быть? Или — как? Что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.  
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страдания.  
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,  
кто подданных душу возвысит до слез, до рыдания.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь  
не сорищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,  
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.  
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —  
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.  
Певца обожая, расплачемся. Доблестна тризна.  
Ведь быть иль не быть — вот вопрос. Как мне быть? Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чашки.  
В обнимку уходим — все дальше, все выше и чище.  
Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.  
Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?

И еще стихотворение — называется «Театр», посвящено  
Владимиру Высоцкому.

#### ТЕАТР

*Владимиру Высоцкому*

Эта смерть не моя есть ущерб и зачет  
жизни кровно-моей, лбом упершейся в стену.  
Но когда свои лампы Театр возожжет  
и погасит — Трагедия выйдет на сцену.

Вдруг не поздно сокрыться в зячность кулис?  
Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели.  
Обреченных капризников тщетный каприз —  
вжаться, вжиться в укромность — вина неужели?

Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет.  
Я не помню из роли ни жеста, ни слова.  
Но смеется суфлер, вседержитель судеб:  
говори: все я помню, я здесь, я готова.

Говорю: я готова. Я помню. Я здесь.  
Сущ и слышим тот голос, что мне подыгрывает.  
Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств  
здравомыслит один: умирающий Гамлет.

Донесется вослед: не с ума ли сошел  
тот, кто жизнь возлюбил, да забыл про живучесть.  
Дай, Театр, доиграть благородный сюжет,  
бледноликий партер повергающий в ужас.

И еще стихотворение, которое читаю в честь Владимира  
Высоцкого, чье присутствие, кстати, меня никогда не по-  
кидало.

Стихотворения чудный театр,  
нежся и кутайся в бархат дремотный.  
Я — ни при чем, это занят работой  
чуждых божеств несравненный талант.

Я — лишь простак, что извне приглашен  
для сотворенья стороннего действия.  
Я не хочу! Но меж звездами где-то  
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,  
нам ли решать, что сегодня сыграем?  
Глух к наставленьям и недосыгаем  
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —  
нас упасти от любви его лютой?  
Как помыкает безграмотной лютней  
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,  
некого спрашивать: вместо ответа —  
мука, когда раздирают отверстия  
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.  
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.  
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран  
стихотворения чудный театр.

## ЛИЦО И ГОЛОС

Давай ронять слова,  
Как сад — янтарь и цедру,  
Рассеянно и щедро,  
Едва, едва, едва.

*Борис Пастернак*

Я так сижу, я так живу, так я сижу там, где живу, что стоит мне повернуть голову, я сразу же увижу это лицо, лучшее из всех прекрасных лиц, виданных и увиденных мной на белом свете. Лицо — шедевр (пишем по-русски) создателя (пишем с маленькой буквы, преднамеренно, потому что я не о Боге сейчас, не только о Боге, но и о сопутствующих обстоятельствах, соучастниках, неизвестных вспомогателях создателя, ваятеля этого Лица).

Живу, сижу, головы не поворачиваю, может быть, сейчас поверну и узнаю, чего стоит шее маленький труд повернуть голову и увидеть Лицо. Н-н-н-не могу.

Но Лицо смотрит на меня. Не на меня, разумеется, а в объектив когда-то (1921 год) фотографа, и потом на всех — с вопросительным, никого не укоряющим недоумением.

Не провиниться перед этим лицом, перед этим никого ни в чем не укоряющим взглядом, перед вопрошающим значением глаз — жизнь моя ушла на это. Ушла, все же сижу, живу, а головы повернуть не могу, не смею. Провинилась, стало быть.

Но какое счастье — его детство, его юность, Марбург, несчастливая любовь, Скрябин — «шаги моего божества».

Да, «шаги моего божества» — вот в чем смысл бессмысленного писания, разгадка и моей тайны, которую не хочу предать огласке.

А я и не разглашаю ничего. Но я не скрываю воспоминания о том дне, когда я впервые увидела его лицо и услышала его голос. Это вечером было, зимою 1954 года, в клубе МГУ.

У меня не было такого детства, из которого можно выпутаться без сторонних, высших вмешательств. Не выжить, я имею в виду, что было почти невозможно, «почти» — вот как вкратце на этот раз упоминаю всех и всё, упасших и упасшее мою детскую жизнь. О, я помню, простите меня.

Но, выжив, — как, кем и зачем я должна была быть? Это не такое детство, где изначально лелеют слух, речь, совесть, безвыходную невозможность провиниться. Да, бабушка у меня была, Пушкин, Гоголь, Лермонтов были у меня, но где и как — это другое.

Я ходила в Дом пионеров — с Варварки, через Ильинский сквер, вдоль Маросейки на Покровский бульвар — чудный этот дом теперь не пионеров, других постояльцев — сохранен, как я люблю его первых обитателей, в каком-то смысле — тоже пионеров, да простят они мне развязную шутку.

В Доме этом действовали несколько студий, называемых «кружками»: литературная, драматическая и «изо», для художников. Усмехаясь над собою, а не над художниками, впервые написала «изо» — Леонид Осипович Пастернак не догадался бы, что это значит, но милый и знаменитый Валерий Левенталь — догадается, ежели спросить, — он начинал там свой художественный путь.

Детство — при загадочных словах, не в мастерской на Мясницкой.

Я прилежно ходила в этот дом для двух разных, родственных, двоюродно-враждебных занятий. Про драмкружок — потом, в другом месте и случае, но спасибо, спасибо, Екатерина Павловна.

Литературная же студия, кружок наш, как теперь я думаю, был весьма странен для той поры. Его попрекали, упрекали, укоряли и потом, при взрослой моей жизни — «декаденты», дескать. И то сказать: имя одного мальчика — Виталий Неживой. Надеюсь, жив он, хочу, чтобы благоденствовал. Мы все писали что-то заунывное, «загробное», мрачное. Смеюсь: в то же время, иногда — одновременно, в соседней комнате бывшего особняка я изображала Агафью Тихоновну, «даму, прекрасную во всех отношениях», домработницу из пьесы В.С.Розова — и возвращалась



в «загробную комнату». Два этих ампула и теперь со мною — если бы мне было дано совершенно подражать великим людям, я бы не сумела выдумать ничего лучше, чем смех уст и печаль глаз.

Был там и другой мальчик, из этого кружка, из другого, как говорят, круга. Очень умственный и просвещенный мальчик.

Да, умственный мальчик из другого круга, тоже писавший стихи, всем изначальным устройством своим нечаянно опровергающий мимолетность слов из письма: «поэзия должна быть глуповата».

С ним, зимою 1954 года, я вошла в клуб МГУ — ему было известно имя того, кто стоял на сцене, в библиотеке его семьи (может быть, несчастной?) были книги стоявшего на сцене, но он не любил их, или сказал так.

Зал был пуст. Три первых ряда занимали — теперь и давно я знаю: кто и как прекрасны. Тогда я не знала ничего, но происходившее на сцене, происходившее на сцене... то есть это уже со мной что-то происходило, а на деревянном возвысии стоял, застенчиво кланялся, словно, да и словами, просил за что-то прощения, пел или говорил, или то и другое вместе — ничего похожего и подобного я не видела, не вижу и никто не увидит. И не услышит.

Пройдет несколько лет, я прочту все его книги, возможные для чтения в ту пору, стихотворения (в журнале и во многих переписанных и перепечатанных страницах), и увижу его лицо и услышу его голос еще один раз, осенью 1959 года.

Мелкую подробность моей весны того года не хочу упоминать за ничтожностью, но пусть будет: из малостей состоит всякий сюжет, из крапинок — цвет. Велели — отречься от него. Но какое счастье: не иметь выбора, не уметь отречься — не было у меня такой возможности. Всего лишь — исключили из Литературного института, глумились, угрожали арестом — пустое все это. Лицо его и голос — вот перед чем хотелось бы не провиниться, не повредить своей грубой громоздкостью-хрупкости силуэта, прочности осанки — да не выходит.

#### ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Начну издалека, не здесь, а там,  
начну с конца, но он и есть начало.  
Был мир как мир. И это означало  
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, — так невелик и все-таки обширен. Там, прихотью младенческих ошибок, все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины был дом как дом. И это означало, что женщина в нем головой качала и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма, и кто-то — мы еще не знали сами — зималявал один пред небесами наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом был он повинен. И земля летела неосторожно, как она хотела, пока свечи горели над столом.

Прощалось и невежде и лгуну — какая разница? — пред белым светом, позволив нам не хлопотить об этом, он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел возник над миром, около восхода, толчком заторможенная природа переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой врасплох нас наблюдала необъятность, и наших достоинств неприглядность уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те два мальчика в рубашках полосатых без робости вступали в палисадник с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать, но я чужда привычке современной налаживать контакт несоразмерный, в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь смотреть на дом и обращать молитву на дом, на палисадник, на малину — то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была лишь следствием, но не залогом лета. Тогда еще никто не знал, что эта окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,  
я шла в деревья, в неизбежность встречи,  
в простор его лица, в протяжность речи...  
Но рифмовать пред именем твоим?  
О нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских  
дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На  
нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ,  
сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от  
гордости к себе я почти не видела его лица — только  
ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки  
глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали,  
и я вас сразу узнал». И вдруг, вложив в это неожиданную  
силу переживания, взмолился: «Ради Бога! Извините меня!  
Я именно теперь должен позвонить!» Он вошел было в  
маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и  
из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой  
светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими  
при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспи-  
ровский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не  
холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко  
впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как  
глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настой-  
чиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и лю-  
бовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные  
приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе вос-  
точное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул  
дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно  
попали в обильные объятия этой округло-любовной, вели-  
чественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы  
сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями,  
изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но  
он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной,  
сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево свер-  
кающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо  
поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего  
вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень  
милые и интересные люди — вам не будет скучно. Прихо-  
дите же! Приходите завтра». От низкого головокружения,  
овладевшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю  
вас. Как-нибудь я непременно найду».

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность позы,  
при этом не выгадывая пользы  
зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начло! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —  
не холодно ли? — вот и все, не боле.  
Как он играл в единственной той роли  
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми  
не принято. Но так поют у рампы,  
так завершают монолог той драмы,  
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!  
Еще не всё: — Так заходите завтра! —  
О тон гостеприимного азарта,  
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,  
куда войти — не знаю! невозможно!  
И потому, навек неосторожно,  
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, дерев и дач —  
после спектакля, в гаснущем партере,  
над первым предвкушением потери  
так плачут дети, и велик их плач.

\* \* \*

Он утверждал: «Между теплиц  
и льдин, чуть-чуть южнее рия,  
на детской дудочке играя,  
живет вселенная вторая  
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,  
любовь моя, мой плач — Тифлис!  
Природы вогнутый карниз,  
где Бог капризный, впав в каприз,  
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,  
брала разбег моя ошибка,  
когда тот город зыбко-зыбко  
лег полукружьем, как улыбка  
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи  
сомкнул он надо мной овал,  
поцеловал, околдовал  
на жизнь, на смерть и наповал —  
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры  
не пить мне!  
И из вод Арагвы  
не пить!

И сладости отравы  
не ведать!  
И лицом в те травы  
не падать!

И вернуть дары,  
что ты мне, Грузия, дарила!  
Но поздно! Уж отпит глоток,  
и вечен хмель, и видит Бог,  
что сон мой о тебе — глубокий,  
как Ализанская долина.

1962

## МЕТЕЛЬ

Февраль — любовь и гнев погоды.  
И, странно воссияв окрест,  
великим севером природы  
очнулись скудость дачных мест.

И улицы в четыре дома,  
открыв длину и ширину,  
берет себе непринужденно  
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —  
метель посвящена тому,  
кто эти деревья и дачи  
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное течение,  
сосну, понурившую ствол,  
в иное он вовлек значенье  
и в драгоценность перевел.

Не потому ль, в красе и тайне,  
пространство, загрустив о нем,  
той речи бред и бормотанье  
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,  
вдруг, ни мгновенье, прервались  
меж домом тем и тем кладбищем  
печали пристальная связь.

1968

## ПАМЯТИ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА

Слова заупокойной службы утешительны: «...вся прегрешения вольныя и невольныя... раба Твоего... новопреставленного Венедикта»...

Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких науки, научения, опыта — утешающих. Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следую ему. Себя и других людей утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно опрятных крыл души и совести, художественного и человеческого предназначения тщетой, суетой, вздором, он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле — судьба совершенная, счастливая. Этот смысл — главный, единственный, все справедливо, правильно, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью и тяжестью делиться не стану. Отдам лишь легкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для нечитателя тоже. Нечитатель как прочтет? Вдруг ему полегчает, он не узнает, что это Венедикт Ерофеев взял себе печаль и муку, лишь это и взял, а все дарованное ему вернул нам не сильным, сильным уроком красоты, добра и любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Все это не в среде, не среди писателей и читателей происходило.

Столь свободный человек — без малой помарки, — он нарек героя знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником, да, этого героя повести и времени, страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники.

Веничка, вечная память.

1990

## «ПРОЩАЙ, СВОБОДНАЯ СТИХИЯ...»

Я приняла весть и убрала лицо в ладони. Не то чтобы я хотела утаить лицо от людей: им не было до меня дела, ведь это было на берегу моря, люди купались, смеялись, пререкались, покупали разные предметы, покрикивали на детей, возбужденных припеком юга и всеми его соблазнами, так или иначе не вполне дозволенными. Я услышала сильную, совершенную тишину. Неужели дети и родители наконец послушались друг друга? Нет, просто слух мой на какое-то время стал невменяем, а внутри стройно звучало: «Прощай, свободная стихия...» Пора домой, на север, но звучание это, прозрачной музыкой обитающее в уме, на этот раз, наверное, относилось к другому прощанию. Среди людей и детей, вблизи или вдалеке от этого чудного бедного моря, где погибают дельфины, я никогда не встречала столь свободного человека, каковым был и пребудет Сергей Параджанов.

Я еще сижу, закрыв лицо руками, у меня еще есть время видеть то, что вижу. Вот я в Тбилиси, поднимаюсь круто вверх на улицу Котэ Месхи. Я знаю, что не застаю обитателя комнаты и веранды, он опять в тюрьме, он виноват в том, что — свободен. Он не умещается в предложенные нам обстоятельства, он вольный художник, этой волей он заполняет пространство и тем теснит притеснителей, не знающих, что это они — обитатели той темницы, где нет света, добра, красоты. Нечто в этом роде тогда я написала в



единственном экземпляре, лучше и точнее, чем сейчас. Письмо такое: просьба, мольба, заклинание. Может быть, оно сохранно. Вот опять я поднимаюсь в обожаемое место любимого города, а сверху уже раздаются приветственные крики, сам по себе накрывается самобраный стол, на всех людей, на меня, на детей моих и других сыплются, сыплются насильные и нежные подарки, всё, что под руку попадется. А под руку ему попадает то, что или содеяно его рукой, или волшебным одушевлено ее прикосновением. При нем нет мертвых вещей. Скажем: крышечки из фольги для молочных и кефирных бутылок, небдительно выкинутые лагерными надзирателями. А на них выгравированы портреты товарищей по заключению: краткие, яркие, убедительные образы. Дарил он не крышечки эти, для меня драгоценные, всё дарил всем, и всё это было изделием его души, фантазии, безупречного и безграничного артистизма, который трудно назвать рукоделем, но высшая изысканность, известная мне, — дело его рук. Избранник, сам подарок нам, — всенепременно даритель. Столь предаваясь печали, застаю на своем лице улыбку. Он и меня однажды подарил: взял на руки и опустил в окно квартиры, где сидела прекрасная большая собака. Она как-то смутилась и потупилась при вторжении подарка. Через некоторое время, открыв ключом дверь, вошли хозяева. Собака и я сидели с одинаково виноватым выражением. Хозяева несколько не удивились и стали накрывать стол. Параджанов недалеким соседом приходился им, и всё это было в Тбилиси. Я имела счастье видеть его в Грузии, в Армении и в Москве, где всегда жестко и четко меня осеняла боль предчувствия или предзнания. К чувству и знанию боли мне еще предстоит притерпеться.

Параджанов не только сотворил свое собственное кино, не похожее на другое кино и ни на что другое, он сам — был кинематограф в непостижимом идеале, или лучше сказать: театр в высочайшей степени благородства, влияющей даже на непонятливых зрителей.

Вот, поднимаю лицо. Всё так, как следует быть. Люди купаются, пререкаются, покупают, покрикивают на кричащих от радости детей. Да будут они благословенны! Я все слышу, но глаза видят препону влаги. Между тем — прямо перед ними ярко и хрупко алеет цветок граната. «Цвет граната» — это другое. Но здесь сейчас цветет гранат.

## ЧАС ДУШИ

...НАСТАНЕТ час души!  
*Анастасия Цветаева. «Утешение»*

В глубокий час души,  
В глубокий — ночи...  
(Гигантский шаг души,  
Души в ночи).

*Марина Цветаева. «Час Души»*

27 сентября — День рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. 99 лет назад в семье Ивана Владимировича Цветаева и Марии Александровны, урожденной Мейн, родилась дочь, при крещении нареченная Анастасией. Старшей сестре ее Марине было два года. Какая радость написать это на бумаге, прочесть и заново узнать то, что всем известно, как ободряющую и восхитительную новость.

8 сентября 1993 года выше постижимой высоты, утешительно, да, но и терзающе — или так непозволительно сказать? — звучали слова заупокойной службы в храме Николы в Пыжах, на Ордынке. Особенно, не стесняя силы собственного, личного чувства, служил отец Александр. В проповеди помянул он всех тех неисчислимых, родных, знаемых или для нас безымянных, навсегда оставшихся в стылой земле насильного севера, да и повсюду в нашей земле. Опасаюсь неточности или несправедности изъяснения, но возрастающая сумма всех моих пульсов, нервов, грехов, отяжелевших глаз, лица, заслоненного рукой, стала неприлично чрезмерной и виновной пред гармонией священного обряда. Сложное это непригодное месиво болезненно сторонилось жара свечей, взглядов, касаний, обращений

шепотом, на которые не снисходило отвечать, едва не приняв за толчею бедное, единственное, возлюбленное человечество. Иному кому-нибудь зачем здесь быть? Велико ли множество, притиснувшее меня к стене возле входа, по сравнению с прочим, обратным и большим множеством — не знаю, но его совершенно довольно, дабы не впасть в опасно близкий и заманивающий смертный грех уныния, отчаяния. Чрез потупленные головы я не могла и не тщилась увидеть ту, к которой пришли, зрячий и зримый, для робкой ощупи внятный свет главенствовал в воздухе церкви и над: заведомо простившая всех, и бывших гонителей, мучителей своих, очевидно продолжала прощать и любить. На паперти я тупо, с отвращением к замаранности суетой, воззрившись на неузнаваемый и неуместный предмет микрофона. Нечто похожее ощущаю я и сейчас, когда пишу: если и следует предавать огласке, то — как? дана ли мне такая возможность?

При стройном многолюдии, при хладном блеске ранней осени свершилось отпевание новопреставленной рабы Божией Анастасии. Но я ведь о новорожденной Анастасии. Этот сентябрь на исходе, а тот не пройдет никогда. Какая радость принять щекою его острую свежесть, а жадным вместительным зрачком — зеленый двор и дом в Трехпрудном переулке. Не удалось разрушителям преуспеть во зле: как это — нет, если ярко и выпукло вижу тополиный двор, комнаты и закоулки дома, залу, рояль, лестницу, вверх по которой шелестит быстролетным шелком прелестная, навсегда прекрасная Лёра, даже бело-голубую молочную кружку вижу как трогаю, ласкаю. В том сентябре Марине два года, мне — по ее младенческой фотографии, подаренной Анастасией Ивановной, близким — из близки, видна ли особая мета, осеняющая чудный облик ребенка? Не надо! Стану смотреть на избыточно счастливую, роскошно данную длительность времени, словно дающий загодя знал, за что, за какое грядущее дарит, осыпает, как бы ничего не оставляя про запас. Сумерки Сочельников, сверканья Рождества, книги, альбомы, гравюры, портрет Наполеона в киоте, свирепо защищенный младшей дочерью от гнева ужаснувшегося отца.

На «Песочную» дачу стану любоваться сколько хочу, хоть сама стояла на останках ее фундамента, где резвилась танцплощадка дома отдыха имени Куйбышева, разыгрывалась викторина, спрашивалось: «Какой крейсер...?», и

один прыткий старик сразу догадался — какой. Во мне прочней, чем в почве склона, ведущие к Оке ступени, вырубленные Сережей Иловайским. Милые, обреченные Сережа и Надя Иловайские, для них та длительность оказалась краткой, но вот ненаглядность их лиц — жива. «...Я хочу воскресить весь тот мир — чтобы все они даром не жили — и чтобы я не даром жила!» Так написала Марина Цветаева, так поступили обе сестры, и детище их отца, «младший брат» их — МУЗЕЙ — заглавно белеет среди их Москвы, удостоверяя мои сбивчивые речи. Открытка от Анастасии Ивановны к Софии Исааковне и Юдифи Матвеевне Каган: «Проходя по Волхонке, вспомните нашего с Мариной отца... (Волхонка, 12)... Споры филологов из папиного кабинета, как мамина рояль (вся классическая музыка!) питали детство, как земля питает росток... Но — самое главное, Юдя, никаких падений духа от неудач, первых, вторых, третьих, — неудачи неизбежны и даже обязательны для человека!» Обратный адрес — загадочные цифры какие-то, но если разгадать их, получится Дальлаг (1945 г.).

Какая радость, что родилась! Когда вскоре крестили и так же свет стоял в церкви, увидела ли высшая любовь и опека, каков упасающий — и упасет — крест над купелью? В 17 году, почти одновременно, смерть мужа и сына, три ареста, тюрьмы, десять лет лагерей, ссылки, «вечное поселение» — до 1956 года, и худшее: смерть сестры, о которой узнала от вещего сна, но от людей два года спустя, в лагере. В этом году — смерть старшего сына Андрея Борисовича Трухачева, а молодую жизнь его присвоили тюрьмы, лагеря, ссылки. «Памятник сыну» — не дописан, но уверена, что содеян.

Но какая радость задувать свечи на праздничном пироге, с каждым годом больше свечей, больше радости, какие подарки, какие нарядные, любимые гости, влажно и нежно смотрят родители и родные, зеленеет драгоценными глазами сестра. Разве можно попасть даже в малую невзгоду из-под такого призора, из таких объятий?

Мое обиталище — мастерская художника Мессерера, приют друзей, животных, причудливых одушевленных вещей, не состоящих на службе у быта. На снимке 80-х годов видно, как любо это пристанище Анастасии Ивановне. Улыбается, расточительно излучает свет, наверное, смотрит на детей или на зверей, тем и другим говорит «Вы», тех и

других крестит перед расставанием, за тех и других молится по вечерам. Впрочем, ласка ее и молитвы простерты надо всем, что есть, и, может быть, поэтому есть и пребудет. Я и сама чувствую, что наше вольное жилище тайными, но явно мерцающими пунктирами соотносено с Цветаевыми, не только из-за книг, писем, портретов, скрытых вещей, напрямую связанных с ними, но и другим волшебным способом. Вот, например, старый фонарь, свисающий с разрисованного дождями потолка (это же чердак, над-этажный, надземный, поднебесный). Стеклоанной оболочке предполагаемого огня, цвета аметиста, однажды улыбалась Анастасия Ивановна. Я вспомнила, что Марина Ивановна в детстве желала или примеривалась, играючи, побыть, погостить, пожить еще где-то, и в фонаре. Я сказала: «И просторный, и цвета аметиста — идеальное прибежище». Улыбка, обращенная вверх, была и общий смех двух сестер. Улица, где живем, — Поварская, прилегающие переулки: Борисоглебский, Мерзляковский, Хлебный, Скатертный, — всё это неотъемлемые владения величественно бескорыстных Цветаевых. В соседнем с нашим доме жила «Драконна» — так звали две девочки ту изумительную, все-добрую, утром в день открытия Музея принесшую их отцу смутивший его лавровый венок. По соседству в другую сторону жили Муромцевы. Вера Николаевна, впоследствии Бунина, была из немногих в Париже, жалевших, желавших помочь.

Это о человечестве. Но никак не менее важно — о собачестве, кошачестве, обо всем родимом зверинстве, тут сестры Цветаевы прежде, первее всех. Только дарительность, спасительность жеста, готовность к непосильной жертве, обожание и сострадание ко всему живому обозначены именами и образами животных, птиц, насекомых, растений, любимых ими, спасаемых, ласкаемых, воспетых. Как-то (в 78 году) Анастасия Ивановна сказала мне: «Собаку пишу не с большой буквы, а вообще большими буквами». «Воспоминания», «Моя Сибирь», «Непостижимое» — эти книги Анастасии Цветаевой лучше знают и рассказывают, чем я.

На Ваганьковском кладбище — много людей, давно дорогие и вовсе незнакомые дорогие лица, бедное, родное, возлюбленное человечество. Последнею, вместе с Надеждой Ивановной Катаевой, подхожу. Надежда Ивановна опускается на колени. Цветы, сдержанность черт или слезы,

скорбный ропот: «Осиротели...» Так ли это? Губы узнают холод, глаза и душа узнают свет. Рядом с родителями, рядом с сыном.

Когда Юдифь Матвеевна оповестила мать о смерти Анастасии Ивановны, София Исааковна сказала: «Это неправда». Мне приходится верить этим словам.

«Марина! Свидимся ли мы с тобою Иль будем врозь — до гробовой доски?» Это Анастасия Ивановна написала в заключении, в 1939 году. Отвечала себе словами молитвы: «Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его! Руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать! Аминь».

## СОДЕРЖАНИЕ

### Рассказы

На сибирских дорогах . . . . .	6
Бабушка . . . . .	35
Скука летних дней в барской усадьбе . . . . .	47
Много собак и Собака . . . . .	60

### Статьи, эссе, выступления

Стихотворение, подлежащее переводу... . . . .	88
Воспоминание о Грузии . . . . .	92
...К тайне первоначального звучания . . . . .	94
Встреча . . . . .	97
Вечное присутствие . . . . .	101
Чудная вечность . . . . .	104
Слово, равное поступку . . . . .	108
Маленький экспромт в честь Большого театра . . . .	110
Однажды в декабре . . . . .	113
Речь на церемонии вручения Пушкинской премии . .	115

### Воспоминания

«Прекратим эти речи на миг...» . . . . .	124
Прощаясь с Павлом Григорьевичем Антокольским . .	128
Из выступления на вечере памяти П. Г. Антокольского . . . . .	131
Не забыть . . . . .	137
О Ларисе Шепитько . . . . .	142
Выступление на вечере памяти В. Высоцкого . . . .	146
Лицо и голос . . . . .	149
Памяти Венедикта Ерофеева . . . . .	157
«Прощай, свободная стихия...» . . . . .	159
Час души . . . . .	161

В поэтической серии «Автограф», издаваемый «Пушкинским фондом» совместно с АО «Журнал „Звезда”», вышли следующие сборники:

1. Б. Ахмадулина. **Ларец и ключ**
2. В. Салимон. **Невеселое солнце**
3. И. Лиснянская. **После всего**
4. Ю. Кублановский. **Памяти Петрограда**
5. И. Бродский. **В окрестностях Атлантиды**
6. Н. Кононов. **Лепет**
7. А. Пурин. **Евразия и другие стихотворения**
8. Е. Шварц. **Песня птицы на дне морском**
9. С. Гандлевский. **Праздник**
10. В. Гандельсман. **Там на Неве дом...**
11. Л. Лосев. **Новые сведения о Карле и Кларе**

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь  
в издательство по адресу:

СПб., ул. Моховая, 20, в помещение журнала «Звезда».  
Информация по телефону: (812) 273-37-24



А 95

**Ахмадулина Б.**

**Однажды в декабре. (Рассказы, эссе, воспоминания) —**  
СПб.: Пушкинский фонд, Журнал «Звезда», 1996. — 168 с.

ISBN 5—85767—087—X

ББК 84. P7

**Ахмадулина Белла Ахатовна**

**Однажды в декабре**

**«Пушкинский фонд» и Журнал «Звезда»,  
Санкт-Петербург, 1996**

**Редактор Г.Ф. Комаров**

**Корректор В.Г. Комарова**

**ЛР № 030 448 от 10 ноября 1992 г.**

**Издательство «Пушкинский фонд»**

**191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12**

**Типография АО «Светлана»**

**Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27**

**Зак. 129 1000. 28.02.96.**